

Николай ФОТЬЕВ

## Детство Осокиных

ПОВЕСТЬ



Отец... Раньше не было отца, а теперь вот появился, и все его рассматривают, все внимательны к нему до того, что Генке обидно и, лучше бы, не было отца. Что в нем, почему именно этот человек должен быть отцом, кто такой, откуда взялся, какое имеет назначение?

Мать словно забыла обо всех, надела праздничное платье, которого раньше Генка не видел, прибралась, напоядилась, засветилась непонятно. И все не для Генки... И уж совсем опечалился Генка, когда стали говорить, что он похож на отца. Бывало, говорили — на мать, Катерину, похож, и это было ему любо, потому что мать он любил так же горячо, как дедушку Федора и бабушку Варвару.

Дедушка Федор первый понял и пожалел Генку. Он усадил его на колени и, ласково щекоча бородой, тихо и душевно заговорил, что отец, Ванюха, вернулся из Красной Армии, что надо его любить: если бы не было отца, то и Генки бы на свете не было. Дедушке Генка всегда верил, и теперь, хоть не сразу, почувствовал какую-то обязанность перед отцом и вздохнул, как взрослый, а дедушка рассмеялся.

Руки у дедушки большие, костистые, с прокуренными пальцами, но бережные и ловкие. И одежка приятно-мягкая — про-

сторная байковая толстовка и плисовые шаровары, на ногах мягкие ичиги. И пахнет дедушка по-своему, смолой и стружками, льном и коноплей, медовухой и воском, хлебным квасом и кожей, да еще чем-то лесным — то ли древесной корой, то ли кореньями. Все запахи — от дедушкиной работы. Он плотничает, столярничает, выделывает кожи, следит за пасекой, вьет вожжи и веревки, чинит сбрую и обувь, ходит в чернь-тайгу, ставит там ловушки и капканы, делает всякие затески на память и присматривает лесины, которые годятся на разные поделки. Все умеет дедушка. Делать топорища, вилы, грабли, телеги, кросна, самопряхи, ульи, бадейки, кадки, бочки, логушки. Умеет шить сапоги, гнать смолу, деготь, пихтовое масло, выжигать известь, искать диких пчел, промышлять зверя, птицу и рыбу. И когда отправляется в чернь, то всегда что-нибудь пригодное найдет или изладит. Не умеет дедушка совсем немногого — ипать на гармошке, кузнечить и читать книжки.

Но у дедушки много сыновей и то, что не умеет он, умеют они. Ванюха, то есть Генкин отец, дядя Яша, дядя Петя, дядя Сережа и даже восьмилетний Тима умеют играть на гармошке. Правда, не все так хорошо, как дядя Сережа. Дядя Яша в кузнице главный и все что надо, из железа изладит. А дядя Петя умеет читать и писать. Шестой дедушкин сын Пронька — еще меньше Тимы, он Генкин ровесник, и дядей его называть не заставляют. Еще есть у дедушки две взрослые дочери — Нюра и Дина, которые помогают бабушке.

— Дедушка, дедушка, а ета... а чо он делать умеет, чо он делать будет? — спрашивает Генка об отце. — А жить где будет?

— Жить будет с нами. Он же твой тятя. Будет ходить в чернь, охотничать, хозяйствовать. Тебя растить, чтоб вырос ты парень на-ять! Вот так вот.

— Чтоб, как дядя Сережа?

— Да нет, ты будешь, однако, почище. Посильнее, однако. Ишь ведь какой верткий, да твердый, разнечистый ты дух!

Подержав Генку, дедушка спускает его на пол и подталкивает к отцу. Отец сидит на широкой, добела выскобленной лавке. Волосы у него черные, густые, коротко стриженные и, по всему виду, колючие, как щетка, которой бабушка Варвара чешет лен. На переносье глубокая складка, которая немного пугает Генку: ему кажется, что отец сердитый человек. Да еще на лбу поперечные зарубки, как на стиральной доске. Лоб и брови подвижные, а рот медленный и улыбка мед-

ленная, губная. Серые пронзительные глаза щурятся, но смеха не слышно, — он смеется так же беззвучно, как дедушка Федор, только покачивается.

Отец наклоняется и втаскивает Генку к себе на колени. Но держит неловко, руки твердые, как железо. Генка сучит ногами, бодается, норовит вырваться. Отец щекочет его живот колючим подбородком и, покручивая головой, грозит забодать. У Генки захватывает дух, ему кажется, что на животе выступила кровь. Но все весело смеются. От отца пахнет табаком, мылом, одеколоном — слишком крепко, одуряюще.

Как только отец отпускает его, Генка убегает в горницу, прячется за косяк и смотрит на отца со стороны. Чудная на нем одежка. У них на Осокинской заимке никто так не одевается. Серо-зеленая гимнастерка, на поясе широкий блестящий ремень и через плечи идут ремешки со светлыми пряжечками. При свете десятилинейной лампы, которую привез отец и которую зажгли впервые, ремни блестят и манят, но в их упругой твердости чувствуется что-то чужое и холодное.

А на сундуке у двери горницы лежит отцовская шапка. Эта уж совсем чудная. Сверху торчит что-то вроде соски, которую до последнего времени сосал Пронька, снизу складные уши, похожие на крылья летучей мыши. Тима уже давно рассматривает шапку, сидя тут же, на сундуке. Тиме восемь лет, он умеет читать букварь и подписи под картинками. Потому он все может объяснить. Генка перепорхнул к нему и стал спрашивать, почему эта шапка такая чудная. Тима важно объясняет:

— Это называется шлем. Ясно? Красноармейский шлем. А это красная звезда.

— Класная в-визда, — повторяет Генка. — Класная в-визда!

Тима надевает шлем, застегивает его на подбородке и вполголоса поет:

Красноармеец был герой,  
На разведку боевой.  
Эй-эй, герой,  
На разведку боевой...

Песню эту поют у Осокиных с тех пор, как побывал у них брат Генкиной матери дядя Саня — бывший красноармеец и участник пражданской войны. Сейчас и дядя Саня тоже здесь, и жена его, тетка Дуня. Песня Генке нравится, он тоже поет, но только те слова, которые может выговорить, а остальные просто бормочет.

Саня хохочет, а отец то сощурится, и от глаз разбегутся острые морщинки, то вскинет брови — и на лбу соберется гармошка. Теперь он больше приятен Генке, хотя по-прежнему веет от него чем-то жестковатым.

— И братка Ваня, твой отец, и сват Саня были красноармейцы и герои, — говорит Тима. — Они воевали и врагов побарывали.

И Генка соображает: враги — это, наверно, те самые, про которых говорят бабушки. У Генки три бабушки: Варвара — Пронькина мама, Михеевна — дедушкина мама и Соломея — мамина мама. Как соберутся, так давай врагов ругать. Враг, мол, только и ждет, когда кто-нибудь, не крестясь, за стол сядет, чтобы еда не пошла впрок человеку, а ему, врагу, пошла. Враг может залезть в нутро и реветь дурным голосом. Враг смущает и подбивает на всякие грешные дела и норовит испортить всех, кто богу не молится. Но бабушки в глаза не видели врагов, а Генкин отец и дядя Саня, оказывается, не только видели, но и воевали с ними, и побарывали.

Одно непонятно: почему Саня и отец оба красноармейцы, а одеты по-разному и друг на друга не похожи? Отец серозеленый, в ремнях и пуговицах, с гармошкой на лбу и стриженный, а дядя Саня — в красной сатинетовой рубахе навыпуск и с длинным-предлинным чубом. Отец и Саня сидят рядом. Саня то ли ласковый, то ли сильно выпивший, и все обнимает отца. Хорошо если бы и отец обнимал Саню и не сидел бы, а двигался, и чтобы показывал разные фокусы и силу.

В доме становится все оживленней и праздничней. Может, потому и Генка ястребком носится из одной половины дома в другую. Его ловят, мнут, давят и качают головами. До чего, дескать, шустрый, до чего крепкий парнишка! Еще семимесячный своим ходом пошел! Надо же!..

Генке хочется примерить отцовские сапоги, которые стоят рядом с сундуком, но это не просто. Спасибо, Тима помог. Поднял Генку и вставил ногами в стоячие голенища. Твердые, как кость, они неприятно холодят и щекочат, как и ремни на отце, поскрипывают, круто и терпко пахнут лошадьё, потому что Генкин отец служил в кавалерии. Генка делает шаг и падает на живот. Живот да руки никогда не подводят, не допускают, чтоб носом клюнул. Разочарованный, он выползает из сапог и убегает в горницу.

Гуляют у Осокиных широко и шумно. Семья Федора Васильевича славится приветливостью и хлебосольством.

Когда-то четверо братьев Осокиных, сколотив денег на сплаве леса, переселились с берегов буйной Катунь в горно-таежное местечко, ближе к Бие. Алтаец-промысловик продал им избу, амбар, пригоны для скота, а сам подался на Телецкое озеро. Осокины срубили крестовый дом, украсили его резными наличниками, кружевным карнизом, створчатыми ставнями. Гулкие сени и кладовка примыкали с северной глухой стороны, а веранда, крышу которой поддерживали нарядные столбы и перекладины, — с восточной. Широкие сходни в десять ступеней, окруженные колоннадой резных столбиков, спускались к югу и заканчивались красной каменной плитой. Кровати, лавки, лари, сундуки и всевозможная деревянная утварь сделаны были так же прочно. Окаймлял усадьбу крепкий заплот, надежно защищавший подворье от зверья и от плохих людей. Над заплотом возвышались двое ворот — одни с востока, другие с запада.

Мастеровые, дружные и неуголимые охотники, братья Осокины зажили хорошо, расширяя пригоны, корчуя тайгу, занимаясь смолокурением, выжигом извести, производством дегтя и пихтового масла, всякого деревянного инвентаря, который требовался степным мужикам. На сочных лугах хорошо нагуливался скот, укосным было сено. В тайге водились дикие пчелы. Разыскивая их и перегоняя в рамчатые ульи, братья развели пасеку.

Рождались дети, и тесно становилось в большом крестовом доме. Решили срубить по очереди каждому свой дом, и разрослась бы Осокинская заимка в деревеньку, да началась мировая война. Один брат погиб на фронте, другой, не оправившись от ран, скончался дома, а третий пошел против царя, стал большевиком. Вернувшись на Алтай, он долго партизанил и погиб в бою с какой-то бандой, прорывавшейся в Монголию. Его вспоминали с трепетным уважением.

— Эх, Серега, Серега!.. — говорил Федор Васильевич, рассматривая его фотографию и утирая слезы. — Был бы ты жив, большим человеком стал бы. И нам, темным, все объяснил бы...

Сам Федор Васильевич тоже был на войне и сильно ранен в ногу, так что даже колчаковцы не забрали его в свою армию. Он разделил имущество между снохами, а дом оставил за собой. Снохи разъехались к своим родным, и на заимке несколько лет было тихо и пустынно. Но потом стали подрастать сыновья и дочери да еще родились три сына. Одного из них, в честь погибшего дяди-героя, называли Сергеем. А все-

го у Федора Васильевича и жены его Варвары Степановны родилось четырнадцать детей. Но выжило восьмеро, остальные умерли от оспы да от других болезней.

Советскую власть Федор Васильевич встретил средним хозяином. Новая власть середняка не трогала, к тому же Осокин был на особом счету в волости, поскольку помогал когда-то партизанам. Знание тайги и природная смекалка помогли ему избежать колчаковской кары, которая не раз над ним нависала.

Все, кто знал Федора Васильевича, относились к нему хорошо. Он слыл хлебосолом, не скупясь, угощал всякого заезжего таежной своей медовухой. Умел отличить умного от глупого, мастера — от балаболки и верхогляда, честного человека — от нечестного, но никого не обижал.

Женская половина не всегда одобряла огульное его гостеприимство, поскольку захаживали к ним не только люди порядочные, добрые и опрятные, но и всякие бездельники, бродяги, побирušки, вшивые и шелудивые. Частые гости — инородцы. Эти тоже разные. Одни поаккуратней, другие бесперечь курят трубки и плюют на пол. К инородцам Федор Васильевич внимателен особенно. На этот счет был у него прирожденный такт — с самого детства не верил он, что есть народы первосортные и второсортные. Это уж у кого как жизнь устроилась. А теперь и Советская власть то же говорит, то есть всех уравнивает в человеческом достоинстве.

Инородцы тоже с добром да почтением к Федору Васильевичу. В алтайских деревнях у него много друзей и, разъезжая по хозяйственным делам, Федор Васильевич часто останавливается у них. Алтайцы, ойроты, шорцы, казахи — все они у Осокиных значатся просто как «татары». Многие из них успели обрусеть и обзавестись русской родней, а русские, в свою очередь, нередко женились на татарках. Да и саму Варвару-то Степановну Федор Васильевич взял из зырян. У лесного алтайского народа и научился он ладить с тайгой, промыслять зверя. Понимает и язык ихний.

Во времена нэпа осокинское хозяйство упрочилось. К тому времени было кому работать: сыновья Иван, Петро и Яков стали взрослыми, появились две снохи, две дочери подросли. Как пойдут на сенокос или пашню, так — целая артель.

Федору Васильевичу стукнуло всего сорок шесть лет, когда хозяйство можно стало доверять сыновьям и невесткам. Теперь он все больше ездил по степным деревням, вел торговые дела и если не пропивал денег, то привозил перец,

горчицу, ситец, галоши, соль, спички, мыло, керосин, скотские лекарства. Ходил слушок, что в степных деревнях останавливался он у вдовушек. Не то чтобы в разгул ударялся, а погулять себе позволял, ибо считал, что свое дело сделал: сыновья и дочери выросли и доля им из общего хозяйства ладная достанется. Сережка с Тимкой по хозяйству уже шевелятся и с каждым годом покрепче будут. Только Пронька еще маленький, вроде как для забавы.

В конце двадцать шестого Федор Васильевич проводил в Красную Армию старшего сына Ванюху. Пока тот служил, родился у Ивана второй сын, и называли его Лешкой. Теперь, когда Осокины встречали Ивана, Лешка, отвыкая от груди, гостил у бабушки Соломеи — в том селе, откуда Иван увел в жены Катерину Резунову.

Теперь надо думать, как отдельный дом Ивану рубить. Правда, еще неизвестно, как он сам посмотрит на заимскую, хуторную жизнь. Лесной человек, прирожденный охотник, остаться вроде бы должен. Но Федор Васильевич никогда не допрашивает человека, а ждет, чтоб тот сам о себе говорить начал. Скажет что-нибудь и Ванюха. А вообще-то он немного стеснялся сына. Эвон какой сурьезный!

Иван по-прежнему сидит на передней лавке под зеркалом. Рядом — Саня и Яков. Сидят, курят. Иван расстегнул ворот гимнастерки, и Генке видно, как сильно отличается белая шея от загоревшего лица.

Шумит, гуляет осокинский дом, из рук в руки, захлебываясь, переходит гармонь-тальянка. Лучше всех играет десятилетний Сережка — парнишка с бледноватым лицом, с черными, будто нарисованными бровями, с большими серыми глазами. Ему бы пора спать, но по случаю возвращения брата и он наравне со взрослыми сидит за столом. На нем голубенькая сатинетовая рубашонка, перехваченная домотканым пояском. Генка завтра непременно попросит маму и ему сшить такую же.

— Сереженька, сыграй, красавец, под пляску, — выходит в круг, размашисто кланяется дородная тетка Дуня.

— А чо играть? Трепака или под табор? — шмыгнув носом, деловито спрашивает Сережка.

— Под табор, Сереженька, под табор. Оно поцыганистей. И — ех-ху-ху! У-ух! — и тетка Дуня, блаженно улыбаясь, плывет по кругу. Широкая юбка то обовьется вокруг ног, то распухнет пологом, а цветастый полушалок в руке то плеснет над полом, то взовьется над головой. Тетка Дуня всех

переплясала. После пляски опять за стол уселись и перед всеми поставили брагу в больших стаканах.

Дядя Саня, обнимая отца, спрашивает:

— Ну и как ихние солдаты? Воюют как?

— Да выходит, неважно. Послабей наших-то, и холодовшибко боятся...

Кто, что? Генке непонятно. Враги, значит. Он слышит непонятные слова: «Конфликт. «Ка-ве-же-де». Ничего не понятно! А дядя Саня дальше выпрашивает:

— Ну-ну. А потом?

— Ну, вышли мы, значит, в тыл. — Отец замолкает. Пых - пых трубкой. — Ну, вышли. Намучились. Сопки, болота, озера. Кони скользят, падают. Дак мы пиками лед долбили. Ночами шли...

— Ну?

— В атаку пошли... Ну, побросали они оружие и — руки вверх. Дак что же их рубить? Приказ был — не рубить зря. — И опять отец долго пыхтел трубкой. — Люди ведь. Другая нация, а все равно такие же рабочие да крестьяне.

Это уж для Генки совсем непонятно. Враги — и люди. Как же так? А что бабушки говорили? И вообще непонятно, почему это все у отца так получается. Тихий он какой-то. Генка думал, раз герой, значит, шашкой рубил и конем топтал, кричал и ругался и всех побарывал. А он, вроде бы, смущается и ничего такого не рассказывает.

Бабушка Варвара опять нацедила медовухи. В кути на лавке стоит десятиведерный логун с затычкой. Как вынут затычку — так и потечет брага, забулькает, и по всему дому пойдет муторный запах. А тут еще песню с такой силой грянули, что огонь в лампе задрожал и по ушам будто колом сданули.

У Генки разболелась голова, он стал кричать и звать маму:

— Ну не надо же так! Да не надо же!..

Но его не сразу услышали. Хорошо, дядя Яша оглянулся. Он поднял руки, дотянулся до края полатей, подхватил Генку и передал Катерине.

— Мам... Ну чо они так реву-ут?! Мам, не надо...

Мать отнесла Генку в горницу и уложила на широкий потник, разостланный на полу. Хорошо, тепло... Засыпая, Генка слышит, как играет дядя Сережа. У него сладко замирает сердце, и вот он будто бы взлетает и летит далеко за горы, плотно обступившие осокинскую заимку. Горы, заросшие пих-



тами, небо, солнце, огнистые облака перед закатом — все ярко и приветливо. Генка плывет над всем этим, и радостно ему, и мама рядом где-то... Ручонки, сомкнутые на шее у матери, разошлись, Катерина уложила их ему под щеку, поцеловала и вышла, закрыв плотнее двери.

— Угомонился, — говорит бабушка Варвара и качает головой. — Больно уж неугомонный. Надо же! До полуночи не уложишь.

А гулянье продолжалось. Перед утром свалились кто где. А ближние гости, закутавшись в тулупы и шали, поскакали в кошевках и санях домой, тревожа гиканьем и песнями дремотную, застывшую в снегах тайгу.

●  
Когда гости разъехались, установилось деловое спокойствие. У бабушки Варвары и обеих снох ноги гудят — три дня хлопотали, готовя еду, подавая на стол, подметая, подтирая, ухаживая за гостями и ребятишками.

Раннее утро... За окнами глушь и темень. Но ставни уже открыты, чтобы заметней было, как забрезжит рассвет. Федор Васильевич, хотя и опорожнил ковшик медовухи еще до завтрака, сидит на припечной лавке под порогом трезво и сосредоточенно курит. Женщины знают, что в такие минуты не следует слишком шуметь. Глава семейства думает, как сделать, чтоб все было хорошо и толково. Так он обдумывает все важные дела — утречком пораньше, на свежую голову. Обдумавши, коротко доложит о своих планах домочадцам. Всякие возражения и поправки принимает не сразу и неохотно. Хмурится. Но если что дельное услышит, согласится:

— Ладно.

Недаром его и в волость, бывало, приглашали думать, хотя и неграмотен. И еще особенность у Федора Васильевича: когда хмельной — балагур, шутник, забавник, всякие побывальщины про попов да господ сказывает, а когда трезвый — строг и молчалив.

Михеевна в этот ранний час тоже поднялась и сидит на краю печи, свесив босые распухшие ноги.

— Федька! Дай-ко мне твою табачку, махорошного. Давно не курила.

Федор Васильевич подает ей кисет. Михеевна сворачивает большую сигарку.

— Уголек подай. Серянки жалко.

Федор Васильевич подносит ей свой еще не потухший оку-

рок. Михеевна не сразу попадает длинной папиросиной в огонь, голова у нее трясется, а отвисшая кожа на подбородке качается, как пустой кошель.

— Тьфу ты, пропасть. Бывалоча, из ружья получше мужиков стреляла, а тут папиросу боком прижгла... Наверно, женишок мой с другой снюхался.

Подумав сколько надо, Федор Васильевич начинает будить молодежь. Петро должен почистить пригоны, скот напоить, накормить. Иван с Яковом запрягут коней и отправятся за сеном, а то на случай бурана запаса маловато. Потом им надо еще по дрова съездить. Бабы и девки подоят коров, напоят и накормят телят, ягнят, поросят, птицу. Предстоит им еще стирка, починка, уборка, а потом засядут прясть. Льна и конопля полон амбар, все перепрясть, переткать надо. Штаны и лопотина всякая, портянки, верхонки, мешки, устилки на ульи, обивки — все у Осокиных делается из своего холста. Но праздничная одежда, конечно, из лавочного товара.

К вечеру выедет сам хозяин. Надо сдать пушнину — изрядно накопилось шкурок белки, колонка, хорька, горностая, зайца. Есть еще с лета не сданные шкурки кротов да выдринная шкура, да лисья, да волчья. Ну, это рухлядь легкая. Главный груз — деготь, пихтовое масло, мед, воск, овчины, кожи, деревянные лопаты, косьевища, граблевища, вилы копенные и стоговые, оглобли, бастрики, топорища, вальки, корыта, сельницы, тюрюки для пряжи. Все это Федор Васильевич с сыновьями исподволь наготовили и просушили.

В волости надо заказать сапожному мастеру четыре пары выходных сапог для молодежи. Остальную обувь шить — ума немного надо. Бродни, канашины, ичиги и домашние шить умеют. Да еще пимокату заказать бы пар шесть пимов, на сколько шерсти хватит, а у гармонного мастера спросить, нет ли хорошей однорядки для Сережки. Подрастает парень, игрок. Пусть учится и других веселит, раз талант такой.

— Нюрка, Динка, Петька! Долго будете валяться, нечистые силы? Я вот вас! Мама, дай-ко мне ухват корчажный...

— Так их, Федька! — поощряет Михеевна. — Ишь, кобылы ленивые. Мы, бывалоча...

На полатах зашевелились.

Скоро дом наполнился шумом и шорохом. Поднялись с постелей, подвалили к порогу домочадцы, гремят рукомойкой, умываются, одеваются, обуваются, ищут, где чье лежит. В куте, где стряпает Варвара Степановна, чуть покачивается висячая лампа, трещат дрова, шипят сковороды с блинами, на

все лады поют, закипают чугуны. За окнами проступает льдистый голубоватый рассвет. Хозяйка осаживает фитилек.

До солнышка позавтракали и, заскрипев санями, уехали по сено Иван с Яковом, Петро управился в пригонах и собрался в чернь — рябков да косачей пострелять. А когда взошло солнце, самый мороз стоял, все серебрилось и потрескивало кругом, — в доме уже со всем управились. Теперь завтракали и женщины. Большие окна, оттаяв, глядели светло и празднично.

Дом стоял на пригорке, полуокруженный солнечными склонами, а под горкой мягко и ровно белела заснеженная луговина. За ней, у самой подошвы другой горы, вся в полыньях и испарине, бежала каменистая речка Калташка.

Федор Васильевич неторопливо похаживал по двору, размеренно выдыхая облачка пара. Бороду, усы, брови, шапку и воротник посеребрил куржак. Там подметет, там лопатой снег отбросает, там вожжи поаккуратней смотает да повесит на свое место, там завертку у саней поправит или вязья стянет покрепче. Шлеи, супони, хомуты, седелки, вожжи, сани, кошевки — все не хуже, чем у добрых людей. И кони тоже. По коням да по упряжке знакомые люди безошибочно узнают, кто едет: осокинские кони, осокинская стать и ухватка. Хорошо запрячь и хорошо съездить — это для Федора Васильевича дело чести.

Хоть и крепок мороз, хозяин голоручь, мохнашки за опояску засунуты. И воза без рукавиц будет укладывать, и вожжи держать — давняя привычка. Ехать — на трех подводах — товар серьезный. Потому так основательно укладывал он воза и меж тем додумывал, как бы чего не забыть.

Ехал Федор Васильевич один, и хоть в здешних местах, кроме Ягулова, из шальных людей никто не мог встретиться, в передние сани положил завернутую в мешковину бердану, доставшуюся от партизан. А на поясе, как и у татар, всегда висел у него широкий нож в ножнах из бычьей кожи. Мало ли что... Ягулов варнак, разгульник, но Федора Васильевича не трогал, наверно, потому, что сыновья их в дружбе состояли. А если кто другой встретится? В тайге или в глухой степи бывает всякое. Однажды колчаки хотели отобрать Гнедка. Остановили среди дороги: распрягай. Но Гнедко ученый. Крикнул Федор Васильевич: «Гнедко, грабят!», упал в сани — поминай как звали. Гнедка мог бы догнать только ягуловский Воронко. Но таких коней, как Воронко, может, и на свете нет больше.

А хозяин Воронка... ну, всем взял мужик: красавец, богатырь и не дурак. Играючи мог бы работать. А нет вот. Живет, не поймешь как. Цыган — не цыган, крестьянин — не крестьянин, мастеровой — не мастеровой. Все вроде умеет и ни на чем долго не держится. Волюшку ему подавай, слободушку, чтоб погулять, повеселиться, удалю похвастаться или дело какое отчаянное утворить. И в каталажке сиживал, и плетями порот. И при царе колобродил, и при Колчаке, и при Советской власти ему нейдет...

К полудню все было уложено, как следует, Федор Васильевич поел посытнее на дорогу, выпил ковшик медовухи, чтоб мороз отскакивал, и отправился в путь.

●  
Каждое зимнее утро начинается одинаково. Раньше всех поднимается бабушка Варвара, зажигает лампу и, убавив фитилек, чтоб не тратить зря керосин, шиплет лучинки. Потом разгребет загнетку, выкатит к шестку еще не затухшие угли и, положив на них лучинки, раздует огонь для растопки. В печи еще с вечера лежат для просушки поленья — быстро охватывает их огонь. Печка топится, гудит, постреливает искрами, а на стенке играют таинственные сполохи и тени. Если бабушка загородит печь или просто взмахнет рукой, на стене сразу же появляется ее фигура или ее рука. Чудно, занятно! Даже боязно немножко.

Когда печь хорошо разгорится, бабушка и вовсе гасит лампу. То-то сказочно и жутковато тогда в тихом еще доме! Теперь и на других стенах мелькают неясные таинственные тени и рисунки. Все, все Генке утром любо. Любо, как бабушка щиплет лучину — надавит ножом на краешек полена, и вот тебе, пожалуйста, — длинная звенящая пластинка мягко падает на пол и слышится запах дерева. У березы один запах, у осины другой, у пихты третий. Любо, как бабушка, нисколько не боясь огня, ловко переворачивает в руках горящий пучок лучины, как горят дрова и освещается печное пространство, как поддевает ухватом большие чугуны да корчаги и с их помощью катка водворяет тяжелую посудину в жаркий зев печи.

И просыпается Генка как раз когда бабушка зашаркает пимами-опорками по полу. Он выбегает из горницы в переднюю. Бабушка надевает ему на ноги шерстяные носочки. Затопив печь и разместив чугуны в печи, берет его на руки, усаживается против огня и сидит так, пока не присплет очеред-

ное дело. Потом снова берет Генку на руки. Бабушка пахнет капустой и огурцами, суслом и дрожжами, луком и укропом. Со спины и с боков греет она Генку, а лицо ему согревает топящаяся печь. Что же это за чудо, когда большая печь топится!

Бабушка и Генка разговаривают. Про то, что в лесу бегают зайчики, сильно мерзнут, волков боятся и филинов. Про то, что дедушка скоро приедет и привезет от лисички гостинчиков. Про то, что где-то за горами, за лесами живет Баба-Яга и как только какой-нибудь мальчишка перестанет слушаться, она уносит его к себе, а потом зажаривает в печи, съедает и валяется на ребячьих косточках. У Яги, наверно, нет своих внучат, и потому она не любит ребятишек. Генка боится ее и часто поглядывает на окно, где густо синее ночное предутреннее небо. Как-то ударилась в окно большая птица — сова, а Генка подумал, что это Яга шаль свою распахнула, и чуть в рев не ударился. Но бабушка сказала, что Ягу она прогнала далеко и напугала до смерти, и теперь она никогда не посмеет вернуться. И опять радостно ему. Там, на улице, снег и стужа, ночь, безлюдье и всякие опасности, а он вот сидит на колнях у бабушки, смотрит, как горят дрова, и слушает славные ее объяснения насчет всего, что ни спроси.

Иногда Генка и бабушка мечтают. Вот вырастет Генка, женится, и у него будут такие же, как он сейчас, ребятишки, которых бабушка чудно назовет правнучатами. Для Генки это, конечно, что-то страшно далекое, а вот вырасти страсть как хочется, и он, конечно, вырастет. Тогда что захочет — то и сделает. И галифе ему сошьют, и сапоги, как у отца, — с подковками, и на гармошке он заиграет на всю чернь-тайгу, и волков прогонит, чтоб зайчиков не трогали, и на Буланке в гости к бабушке Соломее поедет...

Перед самым рассветом, когда печь протопится, бабушка загребает угли в загнетку, под подметает веником на палке и высаживает в печь все, что настряпала, — булки, каральки, пироги, шанежки. Дальше Генке уж не так интересно сидеть у печи, теперь он ждет завтрака, а завтракать его бабушка приучает вместе со всеми, за одним столом, и вот приходится терпеть.

Дни эти зимние тоже похожи один на другой, но Генка не замечает их однообразия. Напротив, каждый день сулит ему множество занятного и чудного. После завтрака, например, можно взобраться на печь к бабушке Михеевне и по-

слушать ее сказки. Можно малость потеснить бабушку, чтоб на печке чистое место появилось, и строить что-нибудь из лучины и прутиков от веника. Костяные бабки можно превратить в лошадей, запрячь их в кошевки — спичечные коробки, в передки — пустые катушки от ниток.

Правит всеми играми обычно Тима. Он все умеет. Сделает хомут с гужами, дугу с колечком, оглобельки, шлеи, вожжи, бичики — только были бы под руками нитки, тряпочки, прутики, щепочки и лучинки. Когда упряжка готова, можно найти и седоков. Тараканы, фасолины, фигурки, вырезанные из картошки, — все годится. Черный таракан иногда гарцует за Воронка, а рыжий идет за Гнедка. «Гнедко, грабят!» С этим молодецким криком подталкивают спутанного таракана, но он, как на грех, заваливается и молотит лапками по воздуху...

Бабушка Михеевна терпит сколько возможно, потом гонит с печи всю теплую компанию. Ей надо прилечь, а шириной она чуть не во всю печь.

...В тот день игру перенесли в горницу. Как раз вернулся дедушка Федор со всякими покупками и гостинцами. Всех оделил пряниками, конфетами, орехами, да еще достались ребятам красивые жестяные баночки и стеклянные бутылочки-пузырьки. На полу в горнице лежал новый потник, скатанный по заказу, — с фамильными буквами. В сажень длиной и шириной, он так и манил повалиться на нем, побарахтаться.

С дедушкой приехала бабушка Соломея и еще Генкин братик Лешка. Его внесли с улицы в тулупе, а потом развернули и поставили на пол. И оказался он коренастым, косолапым, набыченным. Говорить уже умел. Когда обвыкся, первым делом обратился почему-то к младшей тетке:

— У тебя кутак есть?

Потом то же спросил у Проньки и у Генки, и оказалось, что и у них «кутак» есть. Потом они развалились на потнике и стали читать буквы на нем. Лешка, тыкая пальцем в буквы, сказал, будто прочитал:

— Квикви-вакви!

Генка с Пронькой страшно удивились и стали повторять за ним эти самые таинственные слова — «Квикви-вакви... Квикви-вакви...»

И еще оказалось, что Генка именинник — три года исполнилось, а Лешке скоро будет два. И по этому случаю на всех бесштаных штаны надели.

Мужчин целыми днями не бывает дома. Генка даже начинает забывать об отце. Где он, что с ним? Мать объясняет, что отец в лесу рубит новый дом, куда они скоро переедут. А Генке не хочется уходить из дедушкиного дома, где все так мило и знакомо.

Печки, лавки, табуретки, половицы с ямками, прожженными у печи, полати, киоты с семейными фотографиями, иконы в золотистых окладах, большое зеркало в простенке, широкие вышитые полотенца на окнах и божнице. И запахи... Семейный стол, рамы и подоконники пахнут кедром. В кути от сельниц, квашенок, чугунов и корчаг пахнет суслом, мукой, печеным хлебом, солониной и медовухой. И в горнице свой запах. Там стоит большой комод со стеклянными дверцами и медными скобами. На нем — медные же подсвечники, нарядный маленький самовар, конфорки, какие-то иконки и чашечки — опять же медные. И потому от комода пахнет не только деревом, лаком, клеем и красками, но и медью. Чтоб медь блестела, бабушка чистит ее золой и давленной калиной. Стоит потереть медную бляху калиновым соком, как она начинает сиять.

Любо рассматривать то, что наклеено на внутренней стороне сундуков, которые в доме называются просто ящиками. Ящики бабушки Варвары, Михеевны, Катерины, тетки Доры обиты и крест-накрест опоясаны блестящими полосками жести, ярко разукрашены. Но главное там, внутри под крышкой, где есть сказочно красивые картинки. И пахнет удивительно. Это потому, что там наклеены обертки с мыла, духов и одеколона, с конфет и чая, с кусков товара и банок пороха. Тут же вырезки из газет и книжек, старинные бумажные деньги, на которых нарисованы цари, картинки с генералами и архангелами. Самый богатый ящик у бабушки Варвары. В нем не только больше всех картинок и запахов, он еще и открывается с музыкой. Поднимается крышка, раздается звон — и глазам предстает чудо. Бабушкин сундук для Генки — тайная, сказочная страна, которую он изучает с замиранием сердца.

И вот скоро надо переезжать в другой дом... Генка плачет, его успокаивают, что он будет гостить у бабушки каждый день, ведь тут совсем недалеко бегать. И уговаривают вместе с Тимой, Пронькой и Лешкой пойти погулять. Тима у них старший, и они должны его слушаться.

...Ослепительно светит солнце. Чистый снег сверху уже слегка притаял и оттого кажется особенно гладким — почти как свежая яичная скорлупа. Только под косогором в пушисто-белых берегах дегтярно чернеется Калташка. Она то прячется под снегом, то появляется на свет и, как змея, шевелится, блестит на солнышке. Куда она течет, зачем и что там, куда она течет? Вот бы узнать! Даже отсюда, с горки, видно, что речка неглубокая, дно каменистое, а камни на дне гладкие. Близко к Калташке подходить не велено, да и опасно. Можно только постоять на тропинке, где ходят по воду. Тима однако подошел к самой воде и похлестывает по ней прутиком. Потом он позволил подойти остальным, и они тоже похлестали по воде прутиками. Теперь Калташка уже не так страшна. А песку-то, песку-то на дне! И камушков! Ух ты-ы! А вон тот-то весь лохматый. Это как же так: зимой в холодной воде — и мох растет? И почему так много камушков? Нигде нет камушков, а в речке полно.

Потом пошли по тропинке и едва достигли санной дороги, как из пихтача, темневшего за луговиной, показался громадный черный конь. На лбу белая звезда, уздечка, вожжи и шлея в бляшках и кисточках. Дуга вознеслась выше леса и горит золотой росписью. Черный конь — алые ноздри, алые тканые вожжи с кистями. Черный лак на кошеве и оглоблях — и алое сукно внутри кошевы.

— Дядя Ягулов! — кричит Тима.

Генка и Пронька немеют. Никогда еще не видели они людей с такой черной и кудрявой бородой. Не видели таких веселых и дерзких глаз, такого красивого и могучего коня. Грива у коня темно-золотистая, копыта пегие, а одно совсем белое. Но самое удивительное — дуга. Все краски горели на ней. А из дуги, второй дугой, — лошадиная шея...

— А-а, Федорыч! — хохочет Ягулов. — Ты-р-р. Стой, Воронко! А ну садитесь, прокачу.

Пронька и Генка враз заплакали — боязно.

— Ну как же так? Как же так, мужики! Ха-ха-ха-ха! Ну ладно, не плачьте. Идите пешочком. А ты, Федорыч, садись.

— И я сяду, — набычившись, сказал Лешка.

Храбрец Лешка, ничего не боится... Ягулов подхватил его под мышку и легонько перенес к себе на колени. Тима вскочил сам. И понеслись! Эх, как полетели! Только снег захохал, только буран закрутился и дунул в лицо Генке с Пронькой. И как только не боязно Тимке с Лешкой?

Генка с Пронькой спешат домой и ревмя режут — боязно,



что одни остались, а за Калташкой гора большая и темная от пихтача — чернь. И слева за луговиной чернь, и справа, за Маленькой речкой, чернь. Только впереди, на чистом косогоре, нет ничего страшного. Там родной дом. А черный конь уже влетел в ворота и свернул к пригонам. Совсем горько стало Генке с Пронькой.

Но тут на тропинке-прямушке показался Тима.

— Эй вы-ы! Я иду-у!

И Лешка кричал, что идет. Запинался, падал в снег, но тут же проворно вскакивал и топал дальше.

— Чичас будем на санках кататься, — обещает Тима.

Взошли на горку — вот и дом! До чего же ярко светит солнце. И небо светит. Что в нем? Вон плывет легкое облачко. Зимой Генка не видел таких облаков. А сейчас, говорят, весна наступает. А что такое весна? И что такое солнце? Много надо узнать, но Генка слишком ошеломлен простором и светом, слишком тревожно ему, и потому он молчит, щурится, совершенно позабыв вытереть нос.

Еще когда были у Калташки, Генку пугала темень пихтачей на северном глухом косогоре. Теперь Генка опять смотрит туда. Что там? Звери всякие и враги, про которых бабушки говорят. А что дальше, за горой? За гору небо спускается, и что-то в нем знакомое. Ну да, конечно... Вспомнилась Генке зыбка. Зыбку покачивало, и слышался тонкий, ласковый и немного печальный бабушкин голос. А когда он приоткрывал глаза, то видел голубой положок над собой, а сквозь него просвечивало дневное сияние. И в небе что-то такое было, — оно тоже, как полог, только шибко-шибко большой.

Покатавшись на санках, они сошли под тесовый навес, который соединял крыши двух амбаров. Тут совсем тепло и уютно. Солнышко заглядывает сбоку, и в воздухе струится едва заметный пар. Под навесом стоит длинный верстак, а на стенах амбаров висит разный плотницкий и столярный инструмент. На полках и чердачных перекладинах лежат, томясь и просыхая в тени, всякие заготовки из березы и кедра. Рядом с верстаком вкопаны неохватной толщины чурка с наковальней и такая же чурка без наковальни, которой дедушка тешет свои поделки и заготовки. Тут же лежит бревешко с глубоким поперечным пазом. В этот паз дедушка вставляет поделку, зажимает клином и тешет.

Ласково светящейся пеной лежат стружки и щепки, поблескивают стругаными боками кедровые доски, новенькие де-

ревянные лопаты, топорища, полозья, копылья, брусья и брусоочки. На самом верху поверх перекладин лежат деревянные березовые вилы, рожки которых стянуты плетеным лыком. На одной стене, кроме всего прочего, висит множество связанных попарно веников. Когда дедушка идет в баню, то выбирает здесь веник получше.

Большие дедушкины руки ловко держат долото и стамеску, рубанок и фуганок, сверло и напарье, молоток и пазник, тесло и топор. Пальцы у него чуть плоские, с большими костистыми суставами и прилегают друг к дружке плотно и уютно. Берет ли дедушка карандаш, чтоб по линейке вдоль доски провести линию, — красиво. Берет долото — красиво. Держит перед глазами и как бы выцеливает что-то струганым брусочком — красиво. Берет топор — плотно берет, сильно и красиво. И сам весь ладный, устойчивый, неторопливый...

Тима, повертев в руках топор, откладывает.

— Это не наш топор. Это кто-то из кубатурщиков оставил.

И правда. Дедушкин топор насажен на ладное и прочное топорище, чтоб служил долго и хорошо. Сделано топорище из болонистого комля березы, и прожилочки видны, как на дорогом шлифованном камне. Дедушкино топорище темнее обыкновенных, березовых, и твердое, как кость. Только дедушка умеет выбирать такое дерево и так гладко его обрабатывать. Любо взять в руки такой топор. Остер он и звонок, ни единой на нем зазубринки. На гривке топорища сияет железный подобушник, а дальше оно изгибается, как шея у коня. Самый же конец слегка приспущен и похож на круп того же коня, а снизу гладенький приливчик, чтобы ловчей держаться, чтобы из рук не выскользнул. Нет, ни с каким другим не спутаешь дедушкин топор.

На дедушкину работу можно смотреть часами, и все интересно. Но в морозные дни без дела холодно, и дедушка, а чаще всего Тима и Сережа заставляли младших повозиться, побороться для сугреву. Но чтоб не драться. Главный драчун — самый маленький, то есть Лешка.

Сейчас они тоже побарахтались в стружках. Лешке не понравилось, что его свалили, он схватил — еле поднял — обрубок жердины и пошел на обидчика. Тима подскочил, согнулся и подставил спину. Но до спины Лешка не достал и боднул жердиной значительно ниже. Тима ойкнул, подпрыгнул и завертелся по кругу, приплясывая и похлопывая ушибленное место. Все засмеялись. Мир был установлен. Тима забрал Лешкино оружие и топором перерубил на два полешка.

— Вот это палка! Ого! — польстил он Лешке. — Только палками драться нельзя.

Тима знал всякие-разные частушки. Знал и про палку. Укладывая всякие обрубки в поленичку, он затянул как раз эту, про палку.

— Ты меня избаловала  
Толстой палкой по горбу...

Генка с Пронькой еще не знали частушек, но когда пел Тима, тоже подпевали, прилаживаясь и бормоча что-нибудь. А Лешка и вовсе не умел петь. Но зато он первый прочитал буквы на потнике. «Квикви-вакви». Это все помнят.

Долго они пробыли на улице и только уж когда нестерпимо захотелось есть, поспешили в дом, где все еще сидел Ягулов. Воронко, кося глаз на крыльцо, нетерпеливо поскребывал копытом.

В дом вбежали, запыхавшись. Шмыг, шмыг носами. Зверовато уставились на Ягулова. Тот смеется.

— Ну что, молодцы, конь мой стоит?

— Стоит! — отвечают хором и опять носами — шмыг-шмыг.

Бабушка Варвара сокрушенно качает головой:

— Ой, горюшки вы мои! Вожжи-то какие распустили! — А у Леши-то, у Леши-то больше всех. Эвон какой воробей выскочил!

Лешка всегда доволен, если у него что-нибудь больше всех. И напротив, стоит сказать, например, что у Лешки маленький нос, он тут же с кулаками кинется или набычится — дальше некуда. Но «большой» — другое дело. «Большой воробей» — это тоже приятно.

Ягулов вскоре уехал, а бабушка долго чистила им носы, развязывала шарфики и опоясочки, расстегивала курточки и штаны.

●  
Дядя Яков отделился от общего семейства и стал жить в своей избе. Она саженьях в двухстах на восход от большого осокинского подворья, под яром, в излучинке Маленькой речки, впадающей в Калташку. У дяди Якова и его жены, тетки Доры, родился Кузька. Он уже подросток и встал на ноги. Говорят, что это сродный брат Генке и Лешке, а Проньке — племянник. Генка, Лешка и Пронька собирались с ним играть, как тепло придет, но весной, после половодья, вся семья

дяди Якова переехала в Стародубку. Это в семи километрах от заимки, за горами. Там, сказывают, теперь колхоз, и дядя Яков с теткой Дорой уже колхозники. Тетки Ньюра и Дина тоже ходят работать в колхоз и по неделям дома не бывают. Наверно, им там веселее.

А Генкин отец строит новую избу, чтоб тоже отделиться от дедушки. Отец, мать и Генка с Лешкой живут пока в избе дяди Якова, а как только будет новая изба, дядя свою избу перевезет в Стародубку.

Генка хоть и привык уже к новому месту, но все равно его тянет на дедушкино подворье. Там все знакомо и дорого. В закатной стороне за домом есть маленький ложок, а в голове его стоят два тополя. Ниже тополей — малая промоина, откуда вытекает ручеек, направленный в деревянный желобок. К желобку можно пристроить всякие дудки, из которых тоже потечет вода. Тима тут даже мельницу поставить собирается.

Еще в дедушкином дворе есть большая сухая яма в ко-согоре, где заплот сходится углами. Это место называется солонец. Тут раньше лошадям и другому скоту давали соль, и земля тут глубоко выбита копытами. В стенках ямы любо копать всякие печки и печурки. Тут же хлопочут муравьи, бу-кашки, бабочки, земляные пчелы. На выезде у заплота всегда можно найти черепки битой глиняной посуды, стеклышки, но-сики и ручки от фарфоровых чайников и чашечек.

На новом же месте ничего этого нет и даже дедушкин дом не весь виден — яр загораживает. В яру прокопана кру-тая тропинка. Как дождь пройдет, маленьким и вовсе не взо-браться.

Но вообще-то и новое место неплохое. Яр полукругом идет чуть не до самого устья Маленькой речки. Под яром есть при-лавок, а на нем — ульи. Тут же, на яру, стоит дедушкина баня. Угол между Маленькой речкой и Калташкой — широ-кая луговина. Тут ставит отец новый сруб — будущее Генки-но жильё.

Самое интересное конечно, речка. И называется она лас-ково — Маленькая, и всяких разностей на берегах ее мно-жество. Она заросла мелким прутняком-красноталом, из ко-торого делают корзинки, короба, морды для ловли рыбы. Ког-да речка разливаается, прутняк таинственно шевелился и шеп-тался. Потом он расцвел, покрылся пушистыми желтыми ко-мочками, похожими на шмелей в пыльце. Эти комочки слад-кие. И пчелы с них взятки берут...

С того зимнего вечера, когда Иван Осокин вернулся домой, прошло уже больше полугода, и ко всему, что казалось в нем чужим, Генка успел привыкнуть. К тому же военную форму он теперь не носит, одевается по-домашнему и бреется реже, чем в первые дни, когда Генку так поражал блеск безопасной бритвы и красивая коробочка, в которую она укладывалась. Да и дома отец бывает редко. Все в лесу да в лесу — то охотничает, то для новой избы лес готовит. Главный лес был заготовлен раньше еще дедушкой, и уже хорошо просох. Так что сруб стоит легкий и звонкий, с янтарными бусинками смолы на месте сучков. Он выведен уже под стропила, и пол настлан, и наличники сделаны, и косяки с рамами поставлены, и потолок готов. Теперь надо напилить тесу и покрыть избу, а внутри сложить печку.

Раньше отцу было кому помогать, а теперь он работает больше один или вдвоем с Катериной. Он и ее научил пилить маховой пилой. На козлах, устроенных для распиловки сунтков, Иван стоит наверху, а Катерина — внизу. Генка слышал, как отец похваливал ее:

— Ты смотри, шельма, — не хуже мужика пилит!

Пила напоминает Генке длинную и тощую подсосную свинью с множеством отвисших сосцов-зубьев. Вверх — вниз, вверх — вниз взлетает пила. «А-ах-ш-ш... А-ах-ш-ш...» — и сыплется, сыплется опилки, и вся дорожка, по которой ходит внизу Катерина, сплошь из опилок, мягкая и душистая. Генка любит смотреть, как мать с отцом пилят. Ловко, в лад у них получается.

Вокруг козел и нового сруба лежат отесанные бревна-сунтки, валяется щепка, стружки, опилки, чурки и чурбачки, клинышки, стяги, осколки и завядшее корье. На это все и летят лесные жуки-стригунцы. Лешка, когда увидел такого стригунца, страху натерпелся. Величиной он был со стручок гороху, а Лешке показался никак не меньше крысы. Прибежал он к матери, слова сказать не может, а сам руки на всю ширину разводит: «Вот такой, с рогами!..»

Удивительной силы и крепости эти жуки-стригуны. Все они ровно бы из жести, а усы и ноги проволочные. Тянешь, тянешь за усы, и никак жука от места оторвать не можешь. А если на щепке сидит, вместе со щепкой подынешь. Вот бы человеку такую силу!

У сруба и пропадают целыми днями Генка, Пронька да Лешка. А Тима с Сережей уже промышляют в черни — ставят кулемки на кротов. А то и они помогали бы.

Мать с отцом останавливаются, только когда пора клин подколотить, чтобы пилу не зажало. Подколачивает нижний пильщик, то есть Катерина.

А вот и собаки из тайги прибежали, значит, Тима с Сережей тоже на подходе. Собак у Осокиных немало — Борзя, Найда, Пестря, Дамка. Хорошо бы с ними в обнимку по стружкам поваляться, да взрослые не велят — у хороших охотников никакого баловства с собаками не допускается. Другое дело, если раз-другой приласкаешь, погладишь или лапку попросишь. И совсем не возбраняется, а даже считается похвальным, если ребятишки у собак клещей вынимают.

— Генка, пасти клиссэй вытаскавать, — говорит Лешка и ковыляет к собакам. За ним Генка с Пронькой.

Дымка вся черная, как из дегтя вылезла, Найда чубарая, Пестря черно-пестрый, а Борзя бусый, серый, как волк. И у всех над глазами светятся золотистые кругляшки рыжеватой шерсти. Они тоже называются глазками и считается, что собака с такими отметинами — хорошая, охотничья. Еще надо, чтоб когти разные были — черные и белые, и чтоб язык у корня был рваный, в зазубринках, и чтоб небо такое же рваное, а на лбу желобок пролегал, а на затылке нащупывалась шишечка. Это все объяснял Тима.

Все трое сейчас не только клещей выколупывают, но и смотрят на охотничьи признаки.

— Моя вон какая охотничья!

— А моя всех шибчей... Вот...

К обеду из черни приходит корова Чернуха — любимица Катерины. Она ее сама, в отсутствие Ивана, выменяла на нетель на соседней заимке. Выгодно выменяла. Корова — просто красавица, настоящая ведерница. Генка с Лешкой теперь и воду не пьют — молока хватает.

Когда мать начинает доить корову, Генке с Лешкой кажется, что она слишком заискивает перед Чернухой. Уж таких ласковых имен надает, уж так ластится! Кусочек хлеба посыплет солью и со всякими приветами идет навстречу. «Барыня моя! Красавица ты моя! Умница...» Это она задабривает корову, чтоб вовремя домой приходила. И, правда, приходит вовремя. Значит, обедать пора. Вот подоит мать корову, процедит молоко и — обедать.

Мать доит Чернуху, а та все жует. Чуть вздрогнет, проглотит что-то и опять жует. Не дай бог, чтоб она жвачку потеряла! Тосковать будет и молоко присушит.

Генка с Лешкой тоже жевать умеют — серу. На пихтовой коре ее сколько хошь. Наколупай и жуи себе. Сначала горько и все во рту слипается, а потом сера становится белой и мягкой, как резина. Только не надо после хлеба ее жевать, а то вся зачерствеет и рассыплется.

Обедают в тени черемух, у дяди-Яшиной избы. И стол сюда вынесли, и скамейки. На столе хлеб, калба, яички, молоко в глиняных чашках. Ложки деревянные, расписные и вовсе не крашеные. У каждого своя. Генка успел выкусить краешек у своей ложки, теперь молоко проливается, все брюхо облито, поэтому поддевать надо меньше. Хлебают молоко с крошенным хлебом, а напоследок будет чай. Самовар вон под черемухой гудит, аж трясется, свистит и пар пускает...

Так и шли дни. А когда поспела земляника и малина, Генка с Лешкой только и ели эти ягоды с холодным молоком. Шибко вкусно!

Как-то, когда они хлебали молоко с земляникой, на лугу вдруг затрещало и что-то рухнуло.

— Старая береза упала, — сказал отец. — Отжила свое.

Генка с Лешкой сразу пошли посмотреть березу. Посмотрели — и сильно жалко ее стало. Под самый корень сломилась и лежала отдельно от корня. А все равно вся еще была зеленая, и каждый листок трепетал, как у живой.

●  
Катерина новой избой не нахвалится. Высокая, веселая, с большими окнами в наличниках и ставнях. И все, как у добрых людей: лавки, кровать, гладкие полы с плитусами, в кути шкаф для посуды, а через пол в подполье ход устроен — западня с колечком. Остается печь поставить да настелить полати.

Отец расколол топорами и клиньями толстенное бревно, обтесал, выстругал обе половины, обпилил сколько надо и уложил их на ребро, метрах в полутора друг от друга, торцами к левой стене. Поверх настелил прочный пол из колотых же бревнышек, а на пол положил высокий полуоклад с единственным углом, зарубленным «в лапу» и нацеленным в середину избы. Концы полуоклада врубил в стену у двери и в стену слева. Получилась большая коробка на двух лежаках.

И пошла работа. Кто глину носит, кто чекмарями трамбует, убивает ее. Работают тут и бабушка Варвара, и Сережа с Тимой, и Нюра с Диной, и Катерина с Иваном. Печи почему-то всегда ставят под один запал, без роздыху. Только

тогда печь будто бы получится крепкой, и топиться хорошо будет, и хлебы печь, и варить все что надо. Кипит работа, и всем весело, всем охота бить печь.

И Генке с Лешкой охота. Измазанные в глине, они голкуются тут же, просят, чтобы и им дали работы. А еще просят сделать им маленькие чекмарики. Отец отпилил от жердины две чурочки, просверлил в них дырочки и ручки вставил. Получились деревянные молоточки, у которых один конец округлый, другой плоский, как обух. Хочешь — круглым концом колоти, хочешь — плоским. Тук, тук, тук... Весело идет работа.

Когда набили под, отец «свинку» сделал. Получилась она вроде большого сундука с горбатой крышкой. Свинку поставили по середине пода, а по краям отец стал наращивать доски. Между «свинкой» и этими досками тоже набивали глину, и печка поднималась все выше, этаким громадным кубом. Потом стали чувал выводить, для чего в голове «свинки» поставили гладкую чурку. Когда забили всю «свинку» и поверх ее выбили печной потолок, кругом чурки тоже стали наращивать дощатые венцы. Как набьют глины между досками и чуркой — так чурку потянут вверх. Чурка эта вылезла в потолочный проем, на чердак и до самой крыши. Вот и дымоход.

На другой день печь была готова. Прорезали чело и пазы для заслонки — и, пожалуйста, можно затапливать. Топить надо как можно жарче и дня два непрерывно. Все, что горит, — то и в печку: длинные березовые чурбаки, поленья, горбыли, обрезки, осколки, щепы и короткие бревешки, — все годится.

Что может быть веселее огня! Топится, гудит печка, а мать прибирает, подметает, и в избе становится все чище, светлей и уютней. Вот уже окна помыты и лампа к потолку подвешена, кровать застелена, вот уже стены, помазанные глиной, высохли, и теперь можно белить.

У отца своя работа. В голове печи, у правого ее угла, он поставил прочную хорошо струганную стойку, а на нее положил полатный брус с пазом. Этот брус одним концом упирался в стену, а другим в стойку и прижимал ее к печи. Стойка, в свою очередь, прижимала верхний опечек. Потом отец выбрал паз в одном из бревен над дверью и настелил из струганых досок полати, так что концы досок ложились в паз на брус и в паз на бревне. И наконец была сделана широкая полка над кутью, один конец которой упирался в пе-



реднюю стену, а другой — в полатный брус, как раз там, где он сходил с печной стойкой. На этой полке разместились квашня, сельницы, сита, веселки, противни, всякие короба и коробушки, ступа, туески и прочее.

Генка с Лешкой не могут дождаться, когда печь «раздевать» будут, то есть сбивать обшивку. «Мам, ну скоро?» К отцу они с такими расспросами не пристают — строговат, да и занят: лавки вдоль стен ладит.

Но вот печка раздета. На глине отпечатались доски — прямо как нарисованные. Шибко интересно! Теперь мать заглаживает всякие неровности — намажет ладошку жидкой глиной и водит, водит по печи, а она сохнет, струится парок. Еще предстоит печурки вырезать и побелить печку. «Мам, мам... Ну скоро?»

И вот по обе стороны чела, напротив каждого припечка, вырезаны печурки, и печка ровно с глазами стала. В печурки будут класть серянки, помазки для сковородок и все другое, что всегда должно быть под руками. И уже все побелено. Красота!

Целыми днями лазят Генка с Лешкой то на печку, то с печи, то на полати, то с полатей. Чтобы им не сорваться, отец сделал для них наклонный лоток с поперечными набойками, вроде лесенки. Прямо с печи — р-раз, и на полатях. И оттуда так же.

Потом выпал снег и стали рубить да солить капусту. Это тоже здорово поглянулось. Новенькие кадки пахли кедром, холодная сочная капуста вкусно похрустывала, и они объедались кочерыжками, которые еще вкусней капусты.

Когда совсем пришла зима, в новой избе появился еще один человек — маленький братик Федюшка. Генке с Лешкой он сперва не поглянулся: был сморщенный и красный, как ошпаренный, и плакал скрипучим громким голосом. Как-то, когда Федюшку кормили грудью, Лешка подлетел и — кулаком его по животу:

— Зачем мою маму отобрал?!

Федюшка как заплачет, как заплачет горестно! И мама стала жалеть его, а Лешку журить: мол, это же твой братик родной, он такой маленький, такой еще слабенький и беззащитный. Жалеть его надо, беречь, а Лешка что сделал?

Лешка разжалобился, тоже ударился в рев и потом нарочно подставлял загривок, чтобы Федюшка потеревил его или ущипнул.

Потом все привыкли к Федюшке, полюбили его и, бывало,

зыбку качали, чтобы он уснул и подрос поскорее. И рос Федюшка, выправлялся, становился лобастеньким, похожим на Тиму. Потом у него была оспа и он чуть не умер. А вот у Генки с Лешкой оспа заранее была привита. К докторам их возили нарочно, и теперь оспа им не страшна: у того и у другого на левой руке, ниже плеча, круглые аккуратные глазки.

Зимой часто дули бураны. Генка с Лешкой видели, как на горе за Калташкой качаются пихты и ветер срывает с них снег и ветки. С иных деревьев слетали целые копы снега и взрывались, как порох, оставляя белые облака. Даже через окна и стены слышно, как могуче и тревожно шумит чернь. В гуле этом столько тайнства и величия, что по спине пробегали мурашки. И совсем жутко было, когда валил непроглядный снег, все бешено крутилось, выло и стонало.

Бывало, что буран заставлял отца в тайге. Мать горевала и часто выбегала из дома. Но отец хорошо знал тайгу и никогда не сбивался с пути. Заснеженный, как привидение, он появлялся у крыльца. Неторопливо снимал лыжи, обколачивал их, ставил в угол и отряхивался. Он никогда не жаловался, что озяб, но с мороза долго и шумно хлебал щи и пил чай.

Зимой отец приносил из тайги зайцев, рябчиков, косачей, колонков, хорьков, белок, горностаев, летяг, иногда лис и волков. Летом он добывал только кротов, а осенью, кроме всего прочего, еще и барсуков.

Вот нахлебается отец щей, напьется чаю, усядется по-татарски под порогом, вынет кисет, набьет табаком трубку — и давай не спеша попыхивать да обдумывать что-то. Курит и глядит, и не поймешь куда, но, конечно же, видит что-то. В тайге-то всякого пришлось повидать. Вот и думает, и снова в мыслях перебирает все. В это время расспрашивать отца не полагается. Надо, чтоб человек сначала отдохнул, напился чаю и пришел в домашнее настроение. Потом можно и спрашивать, да и то не нахально. Генка с Лешкой про это давно уж знают, и хоть не терпится поспрашивать, а терпеть приходится иной раз до самого вечера, когда отцу, может, делать будет нечего и он начнет играть с маленькими.

Братья ждут вечера, сидя на кровати или на печи, играют лучинками, костяными бабками, стекляшками, бляшками от сбруи и пузырьками от лекарств. Мать и отец тем временем управляют по хозяйству. Надо напилить, наколоть и доставить в избу дров, наносить с речки воды, на ночь задать ско-

тине сена, накормить и получше закрыть кур, — а го хорек заберется и всех передушит, надо сходить в погреб за свежей капустой и огурцами для завтрава, надо подоить корову.

Зимний день короток. Зажигается лампа, и за окнами гудит и воет буран, но в избе светло, тепло и уютно. Вот теперь-то и начнется самое интересное.

Еще давеча отец принес с улицы двух заоченевших зайцев. Один побольше, другой поменьше. Теперь они, наверно, уже оттаяли. Да в сумке еще что-то есть — по запаху слышно. Запах самогонного перегара с чесноком, застарелой мочи, кошачьего помета и еще чего-то крепкого — все это верный признак, что отец принес из тайги хорька, колонка или горноста. Всех духовителей, конечно, хорь. Говорят, когда он ворвется в курятник да вонь свою растрясет, так куры с угару падают с насеста.

Рябчиков и косачей отец в избу не заносит. Они до поры до времени лежат в сенках на полке или на крыше, затолканные в снег. Туда же, в снег на крыше, отец прячет налимов, которых иногда ловит мордой в Калташке.

Сейчас отец сидит на приступке у печи и оселком натачивает нож. Трубка, будто штырь, накрепко забитый в стену, торчит изо рта и не дрогнет, не качнется, хотя отец не дает ей погаснуть и шлепает губами, потягивая. Натачивая нож, он тоже о чем-то думает и глядит не поймешь куда.

Наточил отец нож и пальцами острие попробовал — бритко ли. Снимает зайца со стены, веревочной петелькой захлестывает заднюю лапку и подвешивает на полатный брус. Заяц висит вниз головой, весь пушистый, белый, кончики ушей черные, а подушечки задних лапок слегка желтоватые. Сколько же избегали тайги эти лапки с подушечками! И никто не поймал, а вот отец ухитрился. Он все может.

Отец проводит концом ножа, и слышится шуршащий и скребущий звук испарываемой шкурки. Обнажается красное, гладкое, мускулистое мясо. Пахнет парным. Дальше лучше не смотреть. Ребра, шея, красный комок вместо головы и оскаленные зубы... Все это вызывает грусть, жалость и смутный протест. Но так надо...

Тушки отец выносит в сенцы, подвешивает на боронные зубья, вбитые в стену, и оставляет вымораживать. Вернувшись, надевает шкурки на распялки и подвешивает к потолку.

Теперь доходит очередь до сумки. Ага! Белочка, другая, третья. А вот и хорь-хоревич. Ф-фу, как шибануло!

Белок отец свежует, как и зайцев, но шкурки без всяких распялок развешивает под матицей на просушку. А вот хорька обдирает по-иному — с головы. А когда снимет шкурку, надевает ее на узкую длинную правилку-разножку, так что и задние ножки надеваются чулками.

Вот и еще прибавилось пушнины. Скоро вся matka будет увешана шкурками. Потом отец поедет сдавать пушнину и привезет всяких обновок да гостинцев.

Опять пришла весна. Всю зиму ждали ее Генка с Лешкой. Мать обещала, что весной они пойдут пить березовый сок, рвать медунки и копать кандыки на проталинках. Зимними вечерами, когда на улице трещал мороз и светила луна, Генка с Лешкой смотрели в окно и видели заснеженный косогор за Калташкой, и все им казалось, что там уже появились проталинки. Но это было ночью, в лунном свете, а назавтра, к великому огорчению, оказывалось, что это только тени от пихт и все обстоит по-прежнему — снег, мороз, пихтач в инее...

Зимними вечерами отец с матерью учили азбуку и читали букварь. Грамоте отец научился в армии и теперь учил мать. Почти всякий раз, когда он ездил сдавать пушнину, то привозил домой большие картины с диковинными машинами, породистыми овцами и коровами и, развешивая их по стенам, говорил, что все это будет в колхозе. Будут вместо лошадей работать трактора — сильные машины, будет школа для ребятишек, сельпо и живые картины по вечерам смотреть можно будет. И вообще пора с заимки переезжать в колхоз, в Стародубку.

Мать в колхоз не хотела, сердилась на отца:

— Одни работать будут, другие в захребетниках ходить! Да и как это жить можно, если все не свое, а чужое?

Отец не сердился, а только шурился да посмеивался. Но случалось, что они и ругались, и дня по два не разговаривали. В такие дни отец курил непрерывно.

На чердаке, нанизанные на длинные шнуры, висят томленные листья табаку — дюбека, простого и американского. Там же, подоткнутые под стропила, торчат табачные стебли без листьев, стоят всякие кадки, бадейки, ульи с пустыми рамками, на жердочках развешаны веники и пучки загада — мелкой волосистой травки, которая идет на стельки и утепление. Загад отец настилал на портянку, ставил на него голую

ногу и вместе с портянкой окутывал всю ступню. Потом сильно потолстевшую ногу заталкивал в канашины или ичиги. Обувшись таким манером, он целыми днями ходил в тайге на лыжах, и ноги не мерзли даже в трескучий мороз.

— Генка, принеси-ка мне табаку, — скажет отец.

Генка с охотой лезет на чердак, — там интересно. Так интересно, что слезать не хочется. И он, конечно, то, и другое посмотрит.

— Тебя только за смертью посылать, — скажет отец, когда Генка, наконец, вернется с табаком.

Как-то отец привез много разных портретов и сам расклеил их на стенах. Ленин, Сталин, Ворошилов, Калинин...

В мирные вечера мать читала молча, только спрашивала что-нибудь, а отец все вслух бубнил: «Ма-ша... Е-шь кашу». Голос у отца толстый, как у быка, а слова выговаривает, как ребяенок малый. Потом уже Генка с Лешкой поняли, что это он нарочно по слогам читал, чтоб матери было понятней и чтоб младшие видели, как читать надо учиться. А Лешка, тот запросто читает. Возьмет букварь вверх ногами и шпарит без запинки: «Квики-Вакви... Квикви-Вакви...»

А теперь вот весна. У отца и матери забот прибавилось. Надо пчел выставить и дать им облет. Потом кое-какие семьи перегнать в новые, выскобленные, ошпаренные кипятком и хорошо просушенные ульи. Еще надо пахать, боронить, сеять и огород сажать. Пора и веснодельничать, то есть готовить на будущую зиму поленницы осиновых да березовых дров, чтоб за лето они хорошо просохли. Да еще отец по утрам ходит добывать косачей, глухарей и уток: охотник он такой же заядлый, как и табакур. А матери надо допрясть лен, доткать холсты, отобрать картошку на семена, вырастить рассаду, выходить недавно родившегося теленка, посадить на гнезда курицу-парунью и толстую старую гусыню. Да мало ли что. Теперь уж им некогда букварем заниматься, и он полностью перешел во владение Генки с Лешкой.

Главная радость, конечно, на улице. Пусть еще много снега, зато на солнцепеке появились настоящие проталинки, во дворе радостно вещуют куры, а петух горланит звонко и солнечно. На всем подворье около избы, там и тут, лопатами да граблями сдвинут в кучи навоз, щепки, опилки — чтоб лучше таяло. На одну из таких куч опустилась прилетевшая откуда-то бабочка. И конечно же, Генке с Лешкой она кажется самой желанной гостьей.

— Мятличок!

— Мятличок прилетел!

Прилетела откуда-то и первая пчелка. В ее честь тоже прозвучали радостные голоса.

Мать вышла на улицу по-летнему, в кофточке с короткими рукавами. Взяла грабли и сдвинула в кучки всякий на-таявший навоз и мусор.

— Ребятёшки! — зовет она весело. — Сейчас пойдём вербушки ломать. Завтра вербное воскресенье.

И пошла по тропинке к Маленькой речке, где воду брали. Молодые заросли тальника густо были опущены желтоватыми сережками.

— Вот сейчас и наломаем вербушек. Сейчас...

Она побрела по снегу. Сначала попробует, утопчет снег, потом ступает. Генка с Лешкой бредут за ней, стараясь ступать в ее следы. Далеко, очень далеко от следа до следа, Лешке еще трудней, чем Генке, но и он не отстает.

Мать наломала целый пучок вербных веточек, а дома, перевязав цветными тряпочками, поставила на божницу. Вот оно, значит, какое вербное воскресенье.

Весна... Проталинки, тепло, светло. До чего же радостно!

— Мам, мы пойдём на проталинку? Мам?

До проталинки на солнцепечном косогоре идти саженой тридцать по снегу. Туда ведет истаявшая, ровно стеклянная, приподнявшаяся над снегом лыжня.

— Утонете в снегу, намокнете, простудитесь, — не пускает мать.

— А мы по лыжнице, мам. Ну мы по лыжнице...

— Ну идите. Я посмотрю.

Пошли. Только ступили на лыжницу — она рассыпалась со стеклянным звоном. В снег чуть не по горло ухнули.

Смилостивилась мать, сама протоптала дорожку к проталинке, даже кое-где лопатой снег разбросала. Потом оставила их одних.

Вот она — настоящая-то проталинка! До чего хорошо! Сразу теплом дохнуло и землей запахло. На проталинке много сухой травы. Длинные ее стебли плотно прижались к земле. Это их снегом положило, а теперь они вытаяли, подсохли и под ногами звучно шуршат и потрескивают.

Генка топнул ногой, чтоб снег с сапожка стряхнуть. Снег посыпался на сухую траву и зашумел, словно дождь пошел. И Лешка топнул, тоже зашумело. Потом догадались еще лучше — нашли палочки и принялись ими швырять снег на проталинку. И шумело, как настоящий дождь!

Выше, на горе, виднелись еще и еще проталины, и весь бок у горы пестрый, как у коровы. А Лешка-то какой храбрый! Выше, выше карабкается и Генку зовет. Лешка — он всегда бесстрашный, хотя и младше на целый год.

Тут уж совсем была благодать. Торчали старые сухие дудки, валялись всякие гнилушки и палочки. На окрайке, еще в снегу, стоял куст калины, а на нем почти целая гроздь ягод. Ягоду они сразу же съели, хоть и горьковата, и еще стали искать, что бы такое съесть можно. И тут у старого пня увидели большую муравьиную кучу. Вокруг нее еще лежал снег и вытаяла у нее только самая вершина, но муравьи уже вылезли, и столько их скопилось на верхушке, что была там сплошная шевелящаяся шапка. Ой-яй-ё-ё! Это сколько же их! Чудо! Настоящее чудо.

Томящий радостный запах стоял над проталиной. А как стали палочками ковырять землю, запахло, будто огород перепаживали. Присели, присмотрелись — и оказалось, что в сухих былинках на земле ползают какие-то букашки и клопики. Все ожило, все шевелилось.

Выше на горе, где, как умытый, румяно светился березняк в сережках, напевали скворцы и еще какие-то пташки, а под горой у избы все так же высоко и солнечно горланил петух. То и дело позванивали пчелы. И каждый звук как бы связан был с солнцем, небом, лесом и водой, уже шумевшей на Калташке, и с живым телом Генки и Лешки.

К вечеру они сильно проголодались, но еще больше захотелось спать. Пошатываясь, как пьяные, прибрали домой, кое-как разделись, перекусили и полезли на полати.

С того дня и начались походы на гору. Генка с Лешкой называли ее «Наша гора», а Тима с Сережей звали «Ваниной горой», потому что отца в дедушкином доме все называли просто Ваней. Ванина изба, Ванина гора, Ванина пашня... На Ванину-Нашу гору ходили теперь с Тимой и Пронькой.

Тима — это же просто молодец! Все знает, все умеет и ничего не боится. Чтоб снег не набивался в ичиги, он велел штаны поверх голенищ выпустить, и сразу лучше бродить стало. С поляны на поляну — вброд, по снегу.

У Тимы за поясом маленький топорик, и оттого он кажется совсем большим. Лобастенький, коренастый и грудь высокая, глаза ясные, веселые. И ножичек есть у Тимы. Вырезал он сухую журавлиную дудку, срезал наискось широкий ее конец, а отступя с вершок, прорезал полумесяцем окошко. Продул, приладил конец к губам, язык приткнул — и заиг-

рал. Ах, как заиграл! Генка никогда еще такого не слышал. Все в нем всколыхнулось. Что-то жалобное, дикое, бездомное, как журавлиное курлыканье и свист ветра, что-то здешнее и нездешнее, полное печали и робкого призыва пожалеть... Чуть не до слез проняло Генку. А ведь всего дудка... Каких только чудес не бывает!

Пронька с Лешкой тоже стояли, как зачарованные.

— На, попробуй, — Тима подал дудку Лешке.

Тот взял ее с охотой и трепетом. Сунул в рот и, багровея, начал дуть. Ничего не вышло, только исключаивил. И у Генки не вышло, и у Проньки. А у Тимы выходит. Уметь надо, учиться.

Вот Тима вырезал прутик, очистил его от коры и сунул в муравьиную кучу. Его сразу облепили мураши. Тима подержал прутик, повертывая, вынул, понюхал и сморщился:

— Фу, прямо нашатырь! Нюхательный шпирт.

Тут все по очереди понюхали прутик и убедились, что и верно, пахнет так, что чихать впору.

— А теперь лизните. Не бойтесь. Эх вы, смотрите. — И Тима лизнул прутик. — Не бойтесь. Это полезно для здоровья.

Пронька лизнул, Генка лизнул, и Лешка лизнул. Кисло... Так кисло, что слезы выступают и скулы сводит. Скоро у всех в руках были такие же прутики, и теперь каждый совал их к мурашам. Подержат, отряхнут и полижут.

Пошли дальше. Тима впереди и все осматривает — валежину, куст, пенек, кочку, каждую ямку и норку.

— Вот тут бурундук жил... А вот тут хомяк. Во. Видал, сколько земли выгреб! Нэх, нэх, нэх! Пестря, Пестря, Пестря! Тут, тут, тут...

— Гав! — отозвались собаки внизу под горой у избы. — Гав, гав...

Пестря и Найда сначала по снегу, потом по проталинам примчались к Тиме, занюхали, завиляли мордами и хвостами.

— Тут, тут! — сунул Тима руку в хомячиную нору.

И сразу же ее заткнула Пестрина морда. Нюхает Пестря старательно, как поршнем, втягивает воздух, ребра раздвигаются. Понюхал, фукнул и отошел в сторону.

— Нету. Пустая нора, — сказал Тима. — Пойдемте искать.

И правда, скоро у гнилого пня нашли такую нору, из-за которой Пестря и Найда было подрались. Пестря с одного боку под пень копать начал, Найда — с другого. Только зем-



ля летит. «Га-гав!.. Г-р-р...» Зубами гнилушки рвут, корневища кромсают. Вот они какие на самом деле, на охоте-то!

Разрыли собаки нору, выбросили сухое, уютное гнездышко хомяка, а самого задавили. Хомяк сердился, фукал и урчал по-кошачьи. И вот все смолкло. Тима отобрал у Пестри хомяка и подержал на весу, чтоб всем видно было. Спина у него бурая, паха белесые, а живот черный. Толстый, щекастый, нарядный. За щеками у хомяка оказались какие-то травяные семечки, и Тима объяснил, что там, в норе, у него есть запас на зиму. И хлеб он портит, пшеницу и просо ворует.

Все равно было жалко хомяка. Но и похвалиться дома хотелось. Уже охотники — зверя добыли! Сами!

Когда взобрались на самую гору, Тима вынул гопорик и стал на березе кармашек вырубать. Кармашек сразу же наполнился светлой водичкой. Тима вырезал тоненькую дудочку для каждого, и все стали пить березовый сок. Сладко и чудно, что так просто все.

Но на этом чудеса не кончились. Тима сделал деревянную лопаточку, вроде большого зубила, и начал копать кандык. Вот торчит из земли лиловый трубчатый рожок: это листочки проклюнулись. Тима острый конец лопаточки-копарульки нацеливает под рожок и животом давит копарульку, чтоб она поглубже в землю вошла. А как войдет, Тима выворачивает пластышек земли. И вот он — таинственный корешок-кандык! Он похож на винтовочный патрон или маленькую бутылочку. Матовый с желтинкой, сочный, хрустящий, сладкий. Тима копает и всех угощает по очереди. Ешьте, набирайтесь силы! Только надо снежком обмыть, обтереть получше, а то земли наешься.

И не только кандыки. Пестики, петушки, медунки, калба — все это уже появилось, все можно есть. А скоро русьянки, баржовки пойдут. Тима — он все знает.

Набегались, травы всякой наелись, аж губы у всех черные. Это от медунок, наверно. Потом уселись на валежине, на самом солнечном месте.

Ванина-Наша гора полукруглой подошвой в лужок упирается. Вся она пестрая от проталин и снежных перемычек, а лужок еще в снегу. И лог справа, по которому течет маленькая речка, еще в снегу, и северные косогоры в снегу, и весь Калташкин лог. Но снег уже не тот, что зимой. Тогда он был белый, пухлый, с морозными блестками и высокими сумётами, целыми копнами висел в развилках лесин и на голо-

вах пней. Эти снежные копны кухтой называются. Теперь кухта обвалилась, рассыпалась, сумёты просели, сравнялись, лыжницы и дорожки протаяли, скособочились. Снег посинел, а там, где течет Калташка, он и вовсе синий — напитался водой. И Калташка, и Маленькая речка вышли из берегов, потому что из снега и льда зажоры получились, а вода с гор все подпирает.

Синеют в логах залитые водой снега, синеют сопочки, жмурятся горы, заросшие дремным пихтачом, а самые дальние и самые высокие горы голубеют, как небо, и может, их не видно было бы, если бы не так ослепительно сияли снегами их голые вершины. Как далеки они, как высоки, как недоступны и таинственны... Даже тоскливо и страшно.

А вода... куда она вся течет? Сколько воды — и вся куда-то девается.

— Дядь Тима! А куда вода бежит?

— Вода? Вода бежит в большую реку.

— А-а... А большая река тоже бежит?

— Тоже бежит.

— А она куда?

— Река бежит в море-окиян.

— А она большая?

— Кто?

— Моря?

— Море большое. Берегов не видно.

— Ой-яй-ё-ё!

И откуда только Тима знает все? Что ни спроси, все знает. Это потому, что Тима книжки читает. Тиму осенью в школу отправляли, он понятливый, хорошо учился, но зимой вернулся домой: захворал.

В тот день так набегались и надышались, что, пока шли домой, слипались глаза. Даже про хомяка рассказывать не было сил.

Хорошо весной! Каждый день бегали медунки рвать, кандыки копать, березовый сок пить и смотреть дроздиные гнезда.

В эту пору березы в самом соку, и на заимке запасали березовый сок, из которого в бадьях и кадках делали квас. Из лесу приносили его ведрами, пили ковшами, хранили в погребе для лета. Хорош березовый квас! Как выпьешь — так в нос крепкий воздух ударит. Ядреный квас.

Березы вокруг заимки толстенные, соку в них много, и течет он, как капель с крыши. Так что раза три на день ходи-

ли посуду менять — ведра, котелки, бадейки, и к березам протоптали свежие тропинки. Конечно же, со взрослыми ходили и маленькие — интересно.

Ходили, рассматривали березы, и оказывалось, что всякие заметки, зарубки оставлены почти на каждой. Это либо на квас брали березовку, либо тут же, вырубив кармашек, пили ее, либо кто-то бересту снимал. Старшие — Сережа и Тима — объясняли, что бересту драли на паровой деготь. Этим дегтем промазывают кожи, сбрую и всякую обувь. А на густой, корчажный деготь, которым тележные колеса мажут, бересту собирают старую, с валежин и пней.

И еще вот что видели: многие пихты стояли с высоко обрубленными сучками и напоминали громадные пики. Ветки у них обрубали для выгонки масла. Есть такой пихтовый завод, где масло гонят. Этим пихтовым маслом Михеевна ноги натирает, и пахнет оно пуще скипидара.

Как-то пришли за березовкой, а под деревом лежит большая и худущая черная собака. Чужая. Увидела их, встала и зарычала. На что Тима храбрый, и тот отступил. Собака прогнала их и стала березовку из ведра лакать, а сама трясется, ребра ходуном ходят. Дома они сказали про собаку, и дедушка так рассудил, что она больная и надо бы ей краюшку хлеба унести. Но когда пришли к березе, собаки уж не было. Тима сказал: она березовкой вылечилась и ушла.

Потом вот что было. Сапог стоптал Генка и ногу натер. А бегать шибко хотелось, но босиком рано еще, земля холодная, мокрая, да и змеи уже выползали на солнышко. И остался Генка дома один-одинешенек. Тоскливо до слез. Играть не с кем — Лешку и Проньку Тима увел на соседнюю заимку, где тоже два дома стояло и были маленькие ребятки.

Сидел, горевал Генка и плакал, а мать, чтобы утешить его, качулю в пригоне сделала — на перекладине, меж столбов в коровьем пригоне, подвесила на вожжах большое стиральное корыто, кинула в него охалку сенца и, посадив в корыто Генку, стала раскачивать. Потом мать взобралась в корыто, стала на край и давай раскачивать. С каждым разом все выше и выше, аж дух захватывает. Шибко поглянулось Генке, и хотелось ему, чтоб кто-нибудь поблизости был и увидел, как летает он по воздуху. Но никого не было, кроме матери, только она одна похвалила его:

— Молодец! Ой, какой смелый! Прямо, как большой!

Покачала мать Генку и ушла. А он сам стал раскачиваться. Быстро понял, что к чему, высоко летал. И тут уж

вовсе захотелось, чтоб кто-нибудь посмотрел, как он сам, без взрослых, качается.

Тут как раз вернулся с заимки Тима с ватажкой ребятешек. Увидели они, как Генка качается, и, конечно, завидки их взяли. А Генка думал, что бы еще такое выдать, чтоб дух у всех захватило. А что если качнуть вперед, а самому отцепиться от веревок и спрыгнуть? Вот ахнут-то! Только бы не упасть...

Одолев страх, Генка спрыгнул — и устоял! Ребятишки так и ахнули. Молодец Генка! Проворный, ловкий парень! Это надо же!

Про все на свете забыл Генка от радости и гордости. И про корыто забыл. А оно, меж тем, назад летело. Только выпрямился Генка, чтоб посмотреть, как народ его приветствует, а корыто и тюкнуло его чуть пониже темячка.

Ничего больше не видел и не слышал Генка, очнулся на руках у матери. Будь оно проклято, это корыто! Голова тупо болела и кружилась, поташнивало и хотелось спать. Он моргал глазами, а сквозь ресницы просвечивала красная пелена. Это через глаза текла кровь со лба.

С тех пор на лбу у Генки остался шрам — как раз там, где начинаются волосы. И его прозвали меченым. А все корыто виновато...



Весной еще была пасха — большой праздник. Мать все в доме помыла, наредила яиц, настряпала шанежек с творогом, печенье, калачиков. Генке с Лешкой сшила голубые рубашки из сатинета. Отец все это не хвалил, но не мешал матери.

По случаю праздника Генка с Лешкой три дня гостили у дедушки. В дедушкином доме теперь все по-другому. Остались при нем жить две бабушки — Михеевна и Варвара, — а еще Сережа, Тима и Пронька. Бабушка Михеевна шибко болела и говорила, что скоро умрет. Нюра и Дина работали в колхозе и дома появлялись редко. Дядя Яков проживал в Стародубке, работал в колхозе кузнецом, коня сдал в общий табун. А у Генкиного отца конь при себе: мать никак в колхоз пока не соглашалась. Коня звали Буланкой — хороший конь, многие на него зарились. Дядя Петя уехал куда-то в Горную Шорию. И раньше Генка редко видел его и не запомнил, а теперь забыл уже, какой он.

По вечерам в доме говорили про то, какая жизнь идег

кругом — про колхозы, про то, как было «при старом режиме», про железных птиц, которые называются «ирупланы», про проволоку-телефон, по которой хоть через сто верст можно разговаривать, про школы, которых теперь много будет, и про докторов, которые сами ездят по селам и лечат бесплатно. Все это Генке и друзьям его не очень понятно было. И слова незнакомые.

На троицу Катерина с маленькими ездила в соседнее село, где была церковь. Генке запомнились старухи в цветастых шалях и сарафанах, старики, пахнувшие портянками, капустой, дегтем и самогонкой, чьи-то хромовые сапоги со скрипом и красная сатинетовая рубаша, запах ладана и сладкое причастие, которое маленький попик подносил каждому в серебряной ложечке. Еще запомнились чубатые парни, гулявшие на поляне у церкви. Держались они нахально и задиристо, и потому Генка про них подумал, как дедушка говорил, бывало: «вертоголовые». Вертоголовые других не слушаются и не уважают, ничего не умеют делать как следует, и ума у них не много — все с маху рвут, как попало. Вертоголовые — ругательное слово.

Дедушка заключил договор на пушнину и числится теперь охотником. Отец Генки тоже по договору охотничает от «Сибпушнины».

Сейчас отец готовится в чернь. Из сырой осинової жердины он напил много чурочек в четверть длиной и ровно пополам расколол их топором. У каждой половинки выбрал теслом внутреннюю часть, и вышли легкие, широкие и короткие желобки. Если приложить желобок к желобку, получится труба. Теперь на каждой половинке-желобке надо сделать поперечную прорезь, чтоб входил клин, который крота давит. Потом вытесать эти самые клинья — чем ровней, тем лучше. Потом наколоть из березовой сухой бакулки палочки-сторожки. Наконец, надо привести в пригодность калиновые вилажки-трезубцы, которые заготавливают походя, где бы они ни встретились. Этих вилажек у отца много.

Когда все было готово, отец нанизал на чересседельник ловушки-кулемки, уложил клинья в широкую холстяную торбу, а сторожки и вилажки — в брезентовую боковую сумку. Все это он потом либо на себя наденет, либо к седлу приторочит и отправится на Буланке ставить по путикам ловушки на кротов.

Кротов отец привозит каждый день, иногда полную сумку. В черни их много, шкурки у них крепкие, не то, что заячьи,

мех плотный, блестящий и черный, как деготь. Передние лапки — как ладошки у человека, только с коготками, нос острый, как хоботок, голова клинышком, глаза — как маковые зернышки; ими кроты, наверно, и не видят ничего.

Вернувшись из тайги, отец обедает, курит в тени на зава-линке, потом снимает с кротов шкурки. Сначала отрубает лапки, смахивает их с чурки, и собаки тут же съедают их. Самых кротов они ни за что есть не будут, а лапки едят. Кротовьи шкурки отец разрезает по грудке и животу, снимает на обе стороны и прибивает квадратиками к тесине на восемь гвоздиков.

Как все это делается, Генка с Лешкой давно уж знают, но сами пока не умеют. Вот вырастут — тогда другое дело. Зато снимать с тесины высохшие шкурки уже могут. Отец, как из тайги вернется, так командует:

— А ну марш кротов снимать! Да гвоздики не теряйте, в коробочку складывайте.

Тесина с кротовьими шкурками стоит у стены с теневой стороны. Генка с Лешкой берут ее за нижний конец и отходят так, чтоб другой конец опустился, бороздя по стене. Иначе им не одолеть тесину. Спустив ее таким манером, начинают вышатывать гвоздики. Ох и устанешь, пока все гвоздики вынешь! А отец уже новых кротов готовит, поторапливает.

Сухие кротовьи шкурки укладывают пачкой, а это уметь надо. Берут две шкурки и по шерсти надвигают одну на другую, мехом к меху. Так попарно накладывается сотня шкурок, а потом крест-накрест перевязывается суровой ниткой или дратвой. Как накопится несколько пачек, отец увезет их в «Сибпушнину».

В черни, попутно с охотой, отец и дедушка заготовливают дуб — тальниковое корье для дубления кожи. Лучшим считается корье с горного тальника. Толстое, увесистое, плотное, оно сдирается длинными широкими ремнями от комля до вершины, по всем отвилкам. Дуб этот уламывают, уминают и укладывают в большие пучки, напоминающие снопы. Их перевязывают либо тем же корьем, которое потоньше и погибче, либо лыком, надраным с желтой акации, которую здесь называют орешником, потому что на ней вырастают стручки с орешками, вроде мышиного горошка.

Часто отец ездит в чернь не один, а с матерью, и тогда Генке с Лешкой дома тоскливо и одиноко. К тому же чуть отвернешься, в избу куры налезут, а станешь выгонять, они не в двери вышмыгнуть норовят, а в окна. А одна так в шкаф

с посудой затесалась — тарелку разбила и все чашечки, из которых чай по праздникам пили. Сколько горя было!

А раз в прятки играли на чердаке — так Лешка нечаянно в гнездо с запаренными яичками залез, раздавил. Все штаны в желтке были, склеились и заложились.

Сперва, когда отец с матерью в чернь уезжали, то за избой бабушка Варвара следила. Корову в обед доила, доставала кашу из печи, кормила Генку с Лешкой. А потом ей некогда стало — Михеевна совсем разболелась, за ней смотреть нужно, огород сором зарос, сено косить приспела пора и за ягодами ходить. Даже Проньку оставляла она с Генкой и Лешкой. А дедушка, Сережа и Тима в черни день-деньской промышляли. И пришлось звать на заимку третью бабушку — мать Катерину, Соломею Андреевну.

Генка с Лешкой не сразу привыкли к новой бабушке. Она была совсем другая, не как бабушка Варвара. И держалась не так, и слова у нее все чудные какие-то — она из кержаков. Бабушка Варвара в разговоре негромкая, не торопкая, ходит вперевалочку, а лицо у нее смугловатое, зырянское. И никогда не поднимет голоса на ребят, спокойная. А бабушка Соломея то ласковая, слова без бога не скажет, лицо кроткое, а то закричит, ногами затопает и всякие ругательные слова говорит. А потом у бога прощения просит:

— О, господи Исусе-Христе! Прости меня грешную... — И снова уркнет, ногами затопает: — У-у-у, лешачата! Опять на грех навели! Из-за вас!..

Лешка когда-то гостил у бабушки Соломеи, но успел забыть ее. А вот Федюшка давно привык. Он жил у бабушки с тех пор, как его отняли от груди, и приехал теперь вместе с ней.

Первые слова бабушка Соломея вроде скороговоркой сыплет, а последние растягивает, и это чудно. Вот Лешка лазает с печи на полати, а с полатей на полку, где всякое кухонное добро хранится, да еще сухари в противне.

— Сухари-то рассыплё-ё-ешь! — остерегает бабушка.

— Х-хы-хы, — усмехается Лешка и передразнивает: — Шухари-то раш-шыплё-ё-ешь!

— Ах ты лешачонок! У-у-у, ехидна, — вскидывается бабушка. — Ить клоп-клопом, а уже, язви ты, передразнивает. А сам-от, сам-от, как разговариваешь, варнак шепелявый, прости меня господи!

Быстро бабушка вспыхивает. Но быстро и угасает. Расшумится, раскудахчется и тут же утихнет, мирненько посмат-

ривает серыми ясными глазками. Она то с Федюшкой возится, то вяжет что-нибудь, то лен или шерсть прядет. Иногда песни поет, да так, что сердце тает. Голос у нее тонкий, чистый, нежный. Даже стыдно становится, что такую бабушку они обижают и «в грех» вводят. А в песне ее слышится что-то далекое, минувшее и радостное, про что она вспоминает теперь и печалится.

Раздоры с бабушкой чаще всего бывают, когда захочется есть. Едва сунешься за стол, а она:

— У-у, лешачата, опять за стол не крестясь полезли!

— А то чо будет?

— У-у, ехидны! А то будёт, что враг-от с вами же за стол сядет и все у вас ссопё-ёт! Опять голодные будете.

Бабушка скуповата, и все вспоминает, что она маленькая не такая прожорливая была, как «лешачата» да и нечего шибко-то есть было. Дадут на весь день вот эконький кусочек. А эти сопут и сопут, куда только лезё-ёт?!

— Ты ох и шкупая! — упрекает ее Лешка.

— У-у, ехидна! У-у, звереныш осокинский! — выходит из себя бабушка.

Но в конце концов она обязательно даст что-нибудь поесть, только уж непременно добавит:

— Отец-от с матерью не поверят, что одни ссопели столько. На бабушку грешить буду-ут...

Вот, наконец, они наелись и напились, а на улице дождик идет и играть, стало быть, в избе придется. Надо только что-то придумать поинтереснее. И придумали «просо молотить». Сквозь мерное тарахтение самопряхи бабушка слышит, как Генка строжится на «коня» — Лешку.

— Стой, шельма! Ты-р-р! Н-но, поше-ел!

А «конь» так и бьет копытом, так и фыркает, аж сопли брызжут. Иногда он забывается и рукавом вытирает нос, но Генка не дает ему шибко-то забываться:

— Ты-р-р! Стой, говорят!.. Н-но! Ех ты-ты, шельма-а!

Прошлым летом они видели, как в логу на Маленькой речке расчистили лопатами широкую долонь, застелили ее снопами проса и стали по ним лошадей гонять, круг за кругом. Вот так же, по кругу, теперь гонял Генка и Лешку, взнузданного длинной дратвой за шею. Эту дратву, натертую варом, отец приготовил для починки обуви, и вот сгодилась.

Погоняет Генка Лешку, а дратва все сильнее затягивается на шее. Лешке трудно дышать, но он терпит — конь не должен реветь и жаловаться.



— Н-но, шельма-а! Ишь зауросил!..

Лешка храпит, лицо посинело, Генка пуще прежнего погоняет. Молодец Лешка! Хорошо уросит, прям, как настоящий конь!

Вдруг «конь» встал как вкопанный и давай руками шею царапать. Разве же кони так делают? Это никуда не годится! А Лешка уже хрипит и поводьев совсем не слушается. Потом сунулся к бабушке и давай дергать ее за подол.

— Чего опять?! — заругалась бабушка и вдруг запричитала: — Господи Исусе-Христе! Матушки мои! Да ты ведь задавил его, варнак!

Трясущимися руками бабушка пытается развязать дратву, но ничего у нее не получается. И зубами никак не доберется до дратвы, потому что она уже глубоко врезалась в Лешкину шею. А «конь» едва дышит. Наконец бабушка хватается ножницы и кое-как перестригает дратву. Лешка дышит тяжело и порывисто и все глотает, глотает. И только придя в себя, перестает держаться за шею и кидается на Генку с кулаками.

Генка виноват, он отвернулся, подставил горб и терпел, пока Лешка не отвел душу. Потом оба заплакали. Генка от жалости к Лешке — ведь задавить мог, — а Лешка от обиды и оттого, что больно побил Генку.

Так у них каждый день. То одно стряжется, то другое. Но, конечно, и радостей немало. И что-нибудь новенькое узнают каждый день.

●  
Давно уж они просят с отцом и матерью в чернь поехать. Рассказов о черни наслушались досыта, а сами еще ни разу далеко от дома не были. К отцу с просьбами приставать бесполезно — строговат. А у матери можно хоть сто раз спрашивать:

— Ма-ам. Ну мы поедем в чернь с вами? Ну мам...

И вот приходит день, когда объявляется, что в тайгу поедет сначала Генка, а потом и Лешка.

— Просился? — спрашивает отец.

— Просился.

— Ну так вот, собирайся.

— А как собираться?

— Как хошь, так и собирайся. Патроны заряжай, ружье проверь, коня оседлай... Ну как, понятно?

— Хы... Ну да... Прям уж...

— Вот тебе и прям.

Отец шутит, конечно. Мать по-настоящему объяснила, что требуется от Генки. Надо сапожки надеть, а то змеи везде ползают да колючки всякие торчат. Надо плотные штаны и такую же рубашку надеть, а то комары и пауты заедят. И по-завтракать надо как следует.

Все это Генка исполнил с великой охотой, собрался быстро. А отец все тянет чего-то, не торопится. То постромки какие-то связывает, то топор натачивает, то пилу разводит. А сам молчит, только трубкой пыхтит. И до чего же медленный этот отец!

Генка волнуется, к тому же в холщовой рубашке душно-вато, она трет и колется. Генка то на улицу выйдет, то опять в избу вернется. А Лешка еще спит. Мастер он спать-то. Мухи всего облепят, а ему хоть бы что.

День сегодня необыкновенный. И небо, и лога, и горы, сияющие вокруг, — все будто знает, что Генка в чернь отправляется. Сначала было ясно и тихо, потом в небе появилось облако, другое, третье, и вот уж все небо в облаках и похоже чем-то на гладко выкошенные луга, где только что насгребали сено в валки. Над горой, из-за которой появляются облака, они кажутся сплошным клубящимся месивом, но чем выше поднимаются в небо, тем больше между ними голубых разводий и тем разнообразней их очертания. Несутся облака, торопятся, а куда, зачем — непонятно. Генка уже весь истомился и теперь стоит на крыльце, подняв голову.

— Чего сморщился? — спрашивает отец, проходя по двору. — Давай Буланку седлай.

— Хы. Мне не достать...

Конечно не достать. Буланка вон какой конище! Отец, и то тянется, чтобы седло положить ему на спину. А как взнуздывать его станут, так он голову под самую крышу задирает.

Но отец и взнуздал и заседлал Буланку, сумки разные приторочил да еще два мешка вперемет, а в них — по большому туесу. Потом подвязал к седлу пилу, завернутую в мешковину, и моток вожжей. К чему все это, Генке опять непонятно и еще нестерпимей хочется в чернь поехать. Там-то уж ясно будет, зачем так отец собирается. Мать вон тоже управилась, на крыльце стоит, ждет.

— Мам. Ну солнулушка уже вон как высоко! Мам!

— Сейчас, сейчас поедем.

— Как это он говорит? — усмехается отец. — Солнулушка?

— Надо говорить «солнышко», — поучает мать. Ну-ко?

— Солнулушко...

— Ну раз солнулушка высоко, — говорит отец, — надо ехать. А ну иди сюда. — Генка подходит к коновязи. Отец берет его под мышки и шутя забрасывает в седло. — Держись, мужик! За луку держись.

Генка изо всей мочи вцепился в железную дугу седла, а отец, держа Буланку под уздцы, провел его по двору. У Генки чуть не захватило дух от гордости и страха. Высоко!

— Не бойсь, песова морда! — подбадривает отец.

Он забросил поводья через голову Буланки, держа их вместе с лукой левой рукой, вставил ногу в стремя и ловко скакнул в седло. Теперь отцовская трубка сипит и трещит над самой Генкиной головой, а руки отца придерживают его.

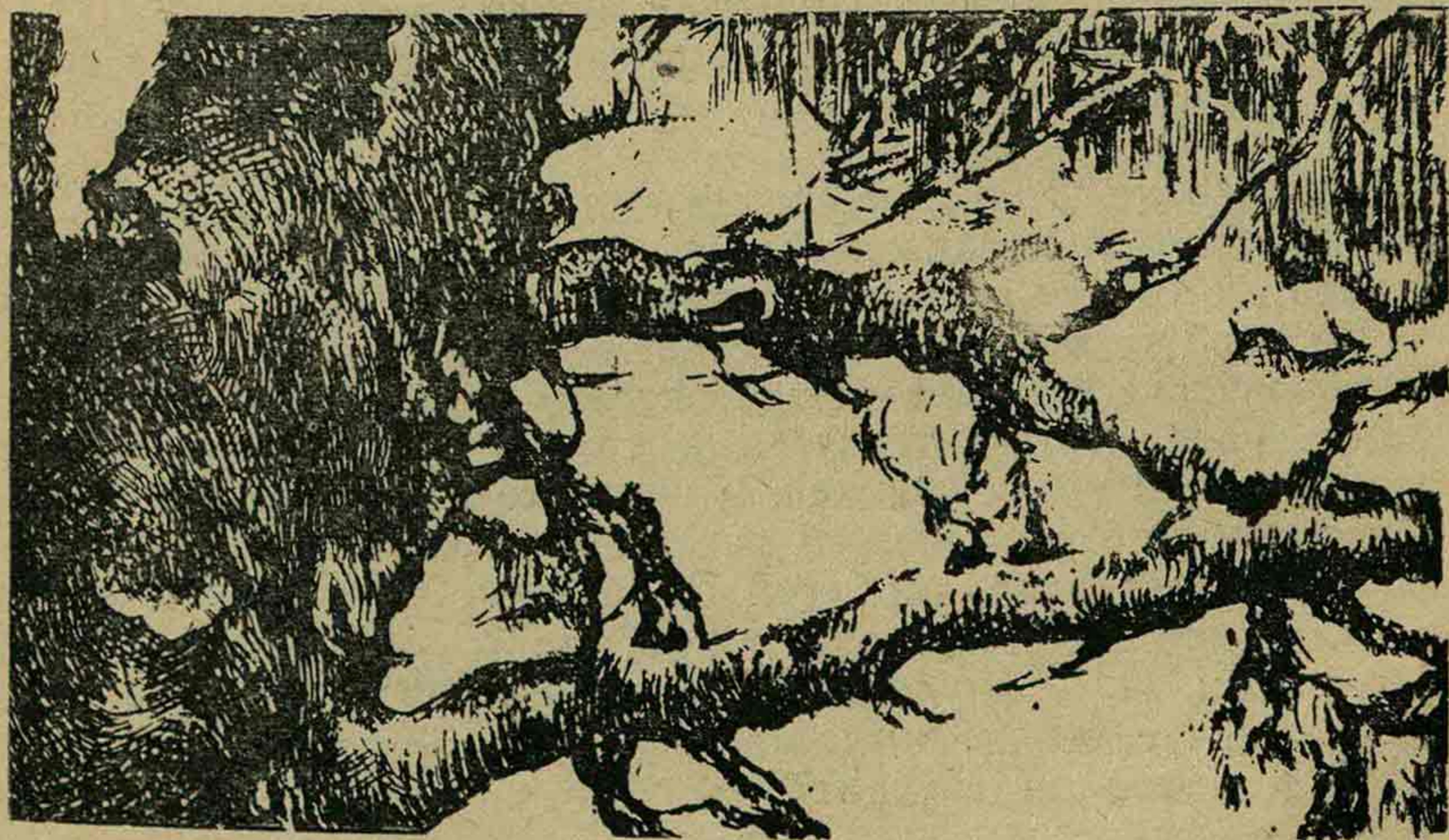
Отец подъехал к крыльцу и велел матери садиться сзади. Мать тоже легко уместилась на Буланку, и они тронулись вверх по Маленькой речке. Вот процокали копыта по каменистому руслу, затукали по влажной тропе, вот захрустели сухие ветки. Все дальше, дальше от дома.

Генке боязно и непривычно.

— Мне чо-то неловко, — жалуется он, подергиваясь.

— Терпи, песова морда. Сам напросился.

Генка терпит, и чем дальше въезжают они в чернь, тем больше разбирают его страх и любопытство.



— А это уже черь? — спрашивает он.

— Чего он там? — слышится из-за спины отца материн голос.

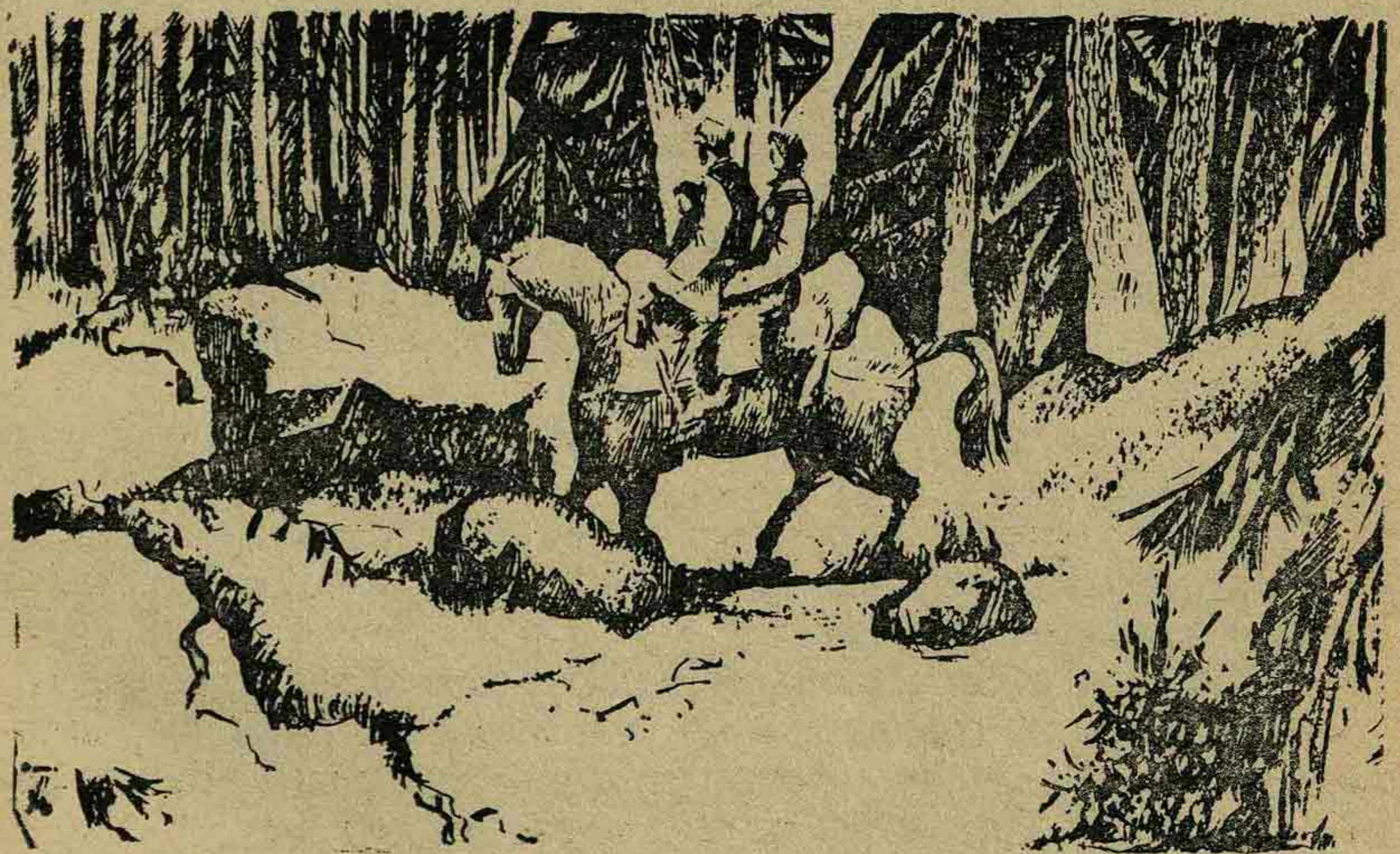
— Да вот, спрашивает, «черь» это или не «черь», — отзывается отец и говорит, что чернь еще впереди.

Генке казалось, что ехали слишком долго, пока наконец-то объявили:

— Вот она и «черь» твоя.

Тропа шла у подножия горного склона, зазубренного мелкими ложками и оплывами. С другой стороны более пологий склон. По обе стороны стоял рослый осинник и пихтач. Генка еще никогда не видел таких осин и пихт. Сучья у пихт начинались почти от земли — широкие лохматые лапы, а на них бледно-зеленые бороды мха. Вот таким же мохом отец патроны запыхивает.

Есть пихты, у которых стволы темные, а есть красные, как брюхо у гольяна. Отец сказал, что это «гриб» такой красный. Он и покрывает пихтовую кору. Есть пихты очень зеленые и густые, есть редкие и желтоватые, есть с развилками на вершине и остроконечные, и у всех на макушках шишки. И еще показалось Генке, что у каждой пихты что-то свое на уме. Вон одна стоит на солнцепечном крутяке. Вершина вроде ухвата — раздвоилась и вся шишками усыпана. Пихта эта склонилась под гору так сильно, что кажется — сейчас упа-



дет. И то, что она в такой опасности, а сама вся какая-то солнечная и веселая, пробуждает в Генкиной душе боль и несогласие. А вон в темном логу стоит такая широкая, мохнатая и высокая пихта, что даже прискорбно делается от сознания своей малости перед ней.

А осины! Толстые, сочные, с серо-зеленой корой. Генка уже знал, что из таких осин дедушка бадейки делает. И над каждой осинкой целый шатер зеленой трепетной листвы. «Ш-ш-ш» — шепчутся осины. Ветра нет, а они пошумливают.

Рябины, черемухи, талины, заросли орешника, пни, валежины, высоченная, вровень с отцовской трубкой, трава-белоголовник, мхи, камни, хмель, лога и ложочки, а выше всего этого — осины с пихтами да березами, горные хребты и, наконец, небо в облаках и голубых разводьях. Вот она какая чернь-тайга...

Меж тем стало припекать, появились пауты и слепни, и над Буланкой стоял теперь сплошной гул. Конь мотает головой и хвостом, подергивает кожей, фыркает и гремит удилами. Отец по-прежнему молча сопит трубкой, ноги у Генки совсем онемели. Тропа пошла крутым косогором. А на перевале, у самого обрыва, да еще на высоком коне зашло Генкино сердце от страха. Но еще больше он боялся показаться трусливым и терпел, намертво вцепившись в луку седла.

Но вот кончился крутой косогор, выехали на широкие покоты, где росли березы, осины и горный тальник. Тут открыто и светло, да еще тальник почти весь ободран, от корня до вершины, и трава примята, и виднеются следы волокуш. Генка догадался, что отец с матерью в этом месте дуб запасали. Вон целый штабель больших пучков корья, а поверх него береста постлана и придавка лежит.

— Ты-р-р! Ну слазь, мужик.

Отец взял Генку под мышки и поставил на штабель. Мать тоже слезла, а отец проехал еще немного и привязал Буланку в тени разлапистой березы.

— Пристал, поди, ехать-то? — спросила мать, снимая Генку со штабеля.

Генка облегченно вздыхает. Слава богу, отдохнуть можно.

Мать пошла к ручью напиться и теперь возвращается с мокрой дудочкой в руках.

— Слышь, отец, колонком пахнет. Вот тут, возле пихты.

— Колонком, говоришь? — расседывая Буланку, спрашивает отец. — Надо, значит, ловушку поставить, раз колонок там лазит. Посмотрю потом, врала ты или нет.

— Да подь ты! Чо мне врать-то?

Отец и мать часто вот так разговаривают — не поймешь, шутят или ссорятся.

Расседлав Буланку и прибрав сбрую, отец взвалил на плечо мешки с туесками, а матери велел взять пилу и топор.

— Ну пошли.

Чуть выше на склоне Генка увидел берестяной шалашик. Внутри много сухой травы-загада, мягко устилавшей пол.

— Тут и сиди, — сказал отец.

Мать дала Генке бутылку с молоком, яичко, зеленого луку и кусочек хлеба. И это в самый раз, потому что в лесу аппетит разгулялся.

— Мам, а вы куда?

— Ты сиди, сиди. Мы пойдем осину с пчелками пилить. Да смотри не выходи, а то осина упадет да придавит тебя. А как спилим — позовем тебя мед есть. Ох и вкусный лесной-то медок!

— Может, там и меду-то нет, а ты угощаешь, — сердится отец.

Ох и не любит он, когда шкуру неубитого медведя делят. Это уж давно Генка заметил. Мать, бывало, скажет: сделаем то да это, и вот так у нас будет. А отец тут же одернет: «Ты доживи сначала». Или так скажет: «Ты уж все распланировала, а еще неизвестно, что случиться может».

Отец с матерью ушли, а Генка остался. Что ни говори, скучновато одному. Да еще лес кругом. Хорошо, Буланка недалеко, стоит, травой хрумкает. Потом послышалось, как топором тюкают. А когда зашикала пила, и вообще хорошо стало. «Шир-шир-шир» — и эхо раздаётся, как вода шумит по лесу.

Генка наелся, вышел из шалаша и слушает, как пилят. Вдруг внизу страшно фыркнуло, задрожало и захрапело. Генка хотел уже рвануть к отцу-матери, но, оглянувшись, увидел Буланку, который опять фыркнул и заржал потихоньку. Ему одному тоже, наверно, скучно было, а может пить хотелось.

А потом Генка увидел, как по валежине, через которую ездили на волокушах, пробежал огненно-красный зверек с хвостом, похожим на красную рыбину. Кто бы это мог быть? Генка не испугался, выштал колышек, вбитый у шалаша, и пошел с ним к валежине.

— Кыш! — грозно закричал он.

И вдруг почуял тот самый запах поджаренного чеснока и

застарелой мочи, который исходил от хорьков и колонков, приносимых из лесу. И сразу же догадался, что это и есть живой колонок — тот самый, про которого сказала мать, когда ходила к ручью.

А наверху все пилили. Генка покричал, но его, наверно, не слышали. Потом пила замолкла, и стало слышно, как бьют обухом по обуху. Наверно, пилу зажало.

— Генка! Ге-енк!

— Чё-ё-ё-ё?

— Смотри не подходи! Сейчас осину валить будем. Понял?..

— Ага-а! Понял!..

Страшный хряск и грохот раздался, когда осина рухнула наземь — аж загудело по лесу. Генка увидел, как вдали, откуда-то сверху, падают обломанные ветки, сильно качается прогонистая пихта с ободранным боком и, рассеиваясь, оседает облачко легкой пыли. Значит, там и упала лесина. Теперь можно идти туда.

Генка взял колышек и пошел по примятой траве на голос матери. Трава тут была втрое выше Генки, особенно дидель — чуть не в оглоблю толщиной, шершавый и пахнет одуряюще. Не зря отец и дедушка называют эту траву дурманником, или дурманом.

Из диделя Тима делал хорошие брызгалки. Надо вырезать кусок дудки, чтоб один конец был с доньшком, и — получится здоровенный патрон. Проткни в доньшке дырочку, возьми палочку, обмотай ее куделькой, вставь в дудку, сунь в воду и потяни — наберешь воды. Потом конец палочки упри в живот и тащи дудку на себя. Тут обязательно струя вырвется. Чем сильнее давнешь, тем дальше брызнешь. Тима сделал всем брызгалки, и играли в войну. И весело, и не больно...

Вот и осина. Ой-яй-ё-ё! Вот лесина, так лесина! И как только спилили ее?

Отец обломком сука забивал кляп, сделанный из мха, в какое-то отверстие, как раз там, где у лесины начинались верховые ветви.

— Мам, а чо он делает?

— Леток закрывает, чтоб пчелки не улетели.

— А-а... А ты чо делаешь?

Мать сгибала из черемуховых прутьев обручи и вставляла в широкую торбу.

— А это будет рояха. Пчелок сюда посадим, увезем домой, и еще у нас колодочка пчел прибавится.

- На Буланке ли чо ли?
- На Луланке.
- А я пешком пойду?
- Да ты боишься, наверно?
- Они жалить будут...
- Не будут, Гена, не будут. Они же знают, что им добро делают. Не бойся.

Генка вздохнул. Не очень-то верилось, чтоб пчелки — да не жалились. Вон Лешку как-то — чик в веко. А плакать мужикам, да еще при людях, — самое распоследнее дело. А потому Лешка терпел, хотя и больно было, но плакать все равно хотелось, и тогда он позвал Генку на старую пасеку — поплакать.

Старая пасека совсем недалеко, по тропинке, через пашню, где гречиху, овес да клевер сеяли. Когда дедушка качал мед, он широким кривым ножом срезал печать с рамок и в ведро щепочкой соскабливал. Эта самая печать — самая вкусная из всех медов, восковая духовитая пенка с медом. Жуй сколько хошь, пока один воск во рту останется. Его выбрасывать нельзя — воск после вытопки сдают в лавку, и за него дают вощину и получают всякий товар. Однажды Пронька, Генка и Лешка баловались и стали друг дружку медом мазать. Пчелам это не поглянулось, полезли в волосы, запутались и начали жалить. И рванули они домой во все лопатки, руками замахали. А пчелы еще пуще сердятся, если руками машешь. Ох и досталось! Бабушка Варвара шибко смеялась, а потом побывальщину рассказала. Сама-то она из зырян, так про зырян все рассказывала. А дело было так: испугался один зырянин пчелки, ужалившей в ухо, да как рванет к хозяину, у которого был в гостях, — и лбом косяк вышиб. Вбежал в избу и спрашивает: «А ну-ко посмотри. Она ухото, однако, кровь резал!..» Рассказ этот помог им прийти в себя и даже смешно стало.

Пока Генка вспоминал про старую пасеку и бабушкин рассказ, мать успела рояху изладить. Потом с этой рояхой, с пилой и топором пошла к отцу, а Генка взобрался на комель сваленной лесины и стал по ней ходить.

Мать с отцом опять пилить начали. Но сначала отец топором постучал и ухо к дереву приложил, чтобы знать, где пилить, а то по пчелам и по меду может пройтись. Допилили они до половины в одном месте, а потом, отступя с сажень, в другом месте столько же пропилили. Потом отец вытесал березовые клинья, колотушку и начал выкалывать. Половина



осины, как раз между запилами, отстала — открылась, как крышка сундука. Отец с матерью отвалили эту крышку на сторону, и стало видно большое дупло. В нем, как икра в рыбе, светились золотистые соты с медом — такие свежие и яркие, что Генке поначалу показалось, будто это жаркие угли там лежат. И пчелы на них ползают.

— Вроде бы, ничего получилось, — сказал отец.

— Ага, слава богу, — ответила мать.

Генке хотелось получше узнать, о чем они говорят, но близко подходить боялся.

— Иди, не бойся, — позвал отец. — Только головой не верти да руками не маши.

Еще раньше Генка заметил, что в траве что-то дымилось. Оказалось, что это дымарь. Его тоже привезли вместе с тучами, и в нем были уже сухие осиновые гнилушки-курушки, которые не горели, но дыма давали много. Мать принесла дымарь и берестяной черпак. А Генка по осине подошел еще ближе.

— Мам, а чо как раз получилось? Чо — слава богу?

— А вот видишь, как соты стоят? Все целенькие.

— Вижу. Вот они. Ага. И пчелы... А вон трутень!

— А если бы соты вот так упали, — мать положила ладонь на ладонь и тряхнула, — они все бы помялись, и пчелок, может, придавили бы, и матку. А у нас хорошо получилось, как раз упала осина-матушка.

С такой высоты грохнулась лесина, а соты целы и пчелы живехонькие. Прямо чудо!

Мать фукает дымариком, пчелы от дыма сбиваются в один угол. Тем временем отец ножом вырезает соты и складывает в тучески. Все больше открывается дупло, и видно, как гладко отшлифованы его стенки. Каждый бугорок, каждая ямка будто вылизаны — ни соринки, ни листочка, ни веточки. Похоже на большую полую кость, из которой все высосано и остались лишь ноздреватые перегородки, к которым теперь мастерски прилажены тяжелые медовые соты. Соты не одинаковы по цвету. Есть совсем золотистые, с чуть заметными ячейками, которые доверху залиты медом и запечатаны тоненькой пленкой воска. Кое-где пленка лопнула, и выкатились крупные слезинки меда. Другие соты темные, словно обугленные и подсушенные. По тому, как отец вынимает их, видно, что одни легче, другие тяжелее.

— А чо это? — спрашивает Генка.

— Сушь, — отвечает отец.

Он и сейчас трубку изо рта не вынимает.

— А на чо она?

— Надо, — неопределенно говорит отец.

Генка хотел уже обидеться, но отец пояснил все же:

— Тут они деток выводили и трутней. А потом меду наносили бы, да не успели. Вот и сухо.

— Когда плохой взяток, — поясняет мать, — всегда много суши.

— А нынче плохой? — Генке хотелось, чтоб хороший, шибко хороший!

— Средний, пожалуй. Так, отец? — спрашивает мать.

Отец попыттел трубкой и угукнул себе под нос.

Мед уложили в туюски, пчел дымом согнали в одну кучу и берестяным черпачком, осторожно, чтоб не подавить их, пересадили в рояху. Мать прикрыла рояху, чтоб там было темно и пчелы не вылетели. А отец все искал матку в опустевшем гнезде. Не дай бог, если пчелы без матки останутся, — погибнут.

— Вот она. Мать честная! Ишь, как оно бывает...

Он прижал матку щепочкой, но не сильно, потом взял пальцами. А она боевая, шустрая, чуть не вырвалась. Но отец успел ее посадить в рояху. Вот теперь все ладно.

Как ни хорошо было Генке, а все же он шибко устал и спать захотелось. Как сели на Буланку, так он задремал и всю обратную дорогу ничего почти не видел. И дома сразу спать запросился. Мать сказала: в сон его клонит, потому что меду объелся. А меду и правда съел он того сколько!

Назавтра было что Лешке рассказывать. И колонка живого видел, и Буланку зря испугался, и осина грохнулась — аж земля задрожала, и настоящее пчелиное гнездо видел, и матку — царицу пчелиную — видел. И что такое чернь, вблизи узнал. Теперь за Лешкой черед.

●  
Дедушка за лето много кротов добыл и нашел две колодки лесных пчел. Уж пчел-то искать он мастер! И не то, что отец-молчун, а рассказывает про все, что ни спросишь. Только дома и он бывает редко. А когда бывает, Генка с Лешкой не отстают от него.

Теперь уже осень началась. День стоит тихий, ясный, комаров нет, только мошка еще держится, а тайга пестрая, как дыганская шаль.

С утра дедушка как всегда потесал и постругал что-то

под навесом, а еще раньше сходил на Калташку проверить морды и принес хариусов. В чернь стал собираться уж после завтрака. Тут Генка с Лешкой подвалили. Их тоже посадили за стол, но есть они еще не хотели — дома блинов наелись, и поели у дедушки только меду.

Тимы и Сережи дома не было, их отправили учиться в село Калташ. Дедушке одному, наверно, тоскливо, и он взял с собой всех маленьких. Веселая получилась компания — дедушка, Пронька, Генка, Лешка да три собаки. У дедушки при себе были ружье-берданка, топорик за поясом, сумка на боку и ножик в кожаных ножнах. Одет он был как всегда в просторную толстовку, широкие штаны-чембары. На ногах мягкие ичиги, на голове кожаный картуз. У маленьких одежда похожа на дедушкину, только картузов нет.

С собой взяли картошки, чтоб в лесу испечь, бутылку сыты́ и каравай хлеба. Дедушка спросил, как обулись, ноги не трет ли. Если трет, лучше сразу переобуться. Да еще просит дедушка шибко головами-то не вертеть, а то на сучок напорешься или споткнешься да ушибешься.

Тропинка шла в косогор, от дедушкиного дома на север, а дальше виляла по широкой спине горного отрога. Тропинка давно утоптанная, может, с тех пор, когда еще дедушка молодым был. Вот только валежин много. Раньше их вырубали, а теперь дедушке, наверно, некогда. То сушина поперек тропы упала, то пень подгнил и рухнул, то выворотень целый. И надо перешагивать, перелезать или в обход идти.

— Нечистый дух, совсем запустилась тропа... — ворчит дедушка.

По тропинке ползали черные, желтые и красные мураши и букашки. Там и тут виднелись шляпки грибов. Иные уже сгнили и расплылись, как кисель. В одном месте лежалдохлый крот, в другом — убитая змея. От них остались одни шкурки, и там густо копошились черные с красными и желтыми пятнышками букашки.

Собаки то совсем пропадали куда-то, то, высунув языки, бежали по тропе. Травы уже вызрели и обсеменились, и поэтому на собаках полно было сухих репьев, колючек. Бурундуки бойко запасали всякие семена. Смотришь — на высокой дудке сидит полосатый зверь с раздутыми щеками и торопливо вышелушивает семечки. А подойдешь ближе, он — бульк вниз и свирстит заполошно или скорей на дерево лезет. Много бабочек, ос, шмелей, шершней. Но больше бабочек — голубенькие, будто ситцевые, мятлиčky усаживались

кучками на сырых местах и чуть пошевеливали крылышками.

Про пчелок дедушка сказал, что это пока «наши пчелки», а если пройти еще версты четыре, то могут быть уже и лесные — дикие.

Собаки часто вспугивали табунки рябчиков — до десятка и больше. И не отличить было сразу, какой старый рябчик, а какой молодой, нынешний: все уже выросли.

Припасов у дедушки маловато, он наобум не стреляет, а выбирает, чтоб наверняка попасть. Вот опять взлетел табунок. Дедушка поднял руку. Это знак остановиться и не шуметь. И все замерли, даже дыхание затаили, слышно, как сердце бьется. Дедушка не спеша снял берданку и плавно поднял ее, целясь куда-то в середину пихты. Казалось, целится он слишком долго, и все ждали. Выстрел ударил неожиданно — ахнуло так, что в уши садануло. И пошло гулять эхо. «О-о-о. О-о-о», — от горы к горе. Рябчики попадали, как тряпочные комочки, и немного было жаль их.

Потом дедушка сказал:

— Ну, на похлебку хватит. А заряды надо поберечь для белки. Скоро она дошлая будет.

Конечно же, никто бы не отказался, если бы дедушка позвал их и белковать. А раз с зарядами плохо, то они из стен и досок, куда раньше стреляли в цель, выковыривали ножичками дробь и картечины и почти каждый день приносили дедушке то на заряд, то на два. Он хвалил их. Когда ели суп с рябчиками, попадались мятые и плющенные дробинки — те самые, которые они добывали.

Шли и шли, дедушка время от времени спрашивал, пристали они или нет, и, конечно, все отвечали, что нисколечко, хотя отдохнуть хотелось. Потом дедушка сказал:

— Ну вот. Это место называется Маленькая сопочка. А во-он видите большую гору? Там змей много и барсуки живут. А на самом верху, видите, — скала на петушиную голову похожа. Вот и назвали гору Петушком.

Всем захотелось и там, на Петушке, побывать, да идти туда уж больно далеко.

— Садитесь отдыхать, — сказал дедушка и указал на толстую, облупленную колоду, лежащую поперек тропы.

На ней, видать, всегда отдыхали, потому что вся она изрублена топорами и ножами изрезана. Даже буквы вырезаны. Но читать никто не умел, а лешкины «Квикви-Вакви» тут не годились. Дедушка сказал, что эти буквы вырезал Ти-

ма, и все пожалели, что его тут нет. Как он там, в школе? Им-то здесь, в черни да с дедушкой, вон как хорошо. А Тима да Сережа где-то одни сейчас...

Недалеко от тропы, на чистой елани, прилаженный к высокому осиновому колу, висел берестяной черпачок-чумашка. Дедушка снял его, вытряс нападавшие хвоинки и сказал:

— А ну, мужики, поднатужьтесь, посикайте вот сюда.

И объяснил, что это надо для приманки пчел. Пчелы учуют, прилетят, а там можно будет выследить пчелиное гнездо.

Дедушкину просьбу охотно выполнили. Подлив в чумашку сыты из бутылки, дедушка отнес ее на место, укрепил. Вернувшись, сел отдохнуть, покурить.

— Прислушивайтесь да поглядывайте, — велел он. — Уши-то у вас чуткие, а глаза острые.

И каждому хотелось первым услышать и увидеть лесную пчелу.

Место было хорошее — вершина лога, где большой подковой изгибалась горная грива. Склон ее крутой, солнцепечный, и от него шло тепло, как от большой печки. На склоне много толстых пней и лесин, но больше всего всяких дудок, которые покачивали и потряхивали бурундуки, вышелушивая семена. И все, что возвышалось над землей, густо увито и окутано хмелем. Золотистые его сережки свисали с пней, кустов и сучьев валежин, как большие плетенки свежего лука. И когда подувал ветерок, ядрено пахло хмелем.

Сколько ни прислушивались — пчел никто не услышал. Отдохнули и пошли дальше. Теперь тропа повела вверх по солнечному косогору, потом в обход и вроде назад стала загибаться. Дедушка сказал, ничего, что назад, вот так они и выйдут по другой гриве на большую тележную дорогу, на берег Калташки, и по ней вернуться к дому.

Пока шли назад, дедушка еще две чумашки поставил. Потом у студеного ключика, обросшего смородиной, пекли картошку и обедали. А вечером, как и сказал дедушка, были дома.

●

Когда выкопали картошку, погода стала ломаться. Еще день простоял ясный и тихий, но в нем уже было что-то задумчиво-тоскливое, как в человеке, переживающем болезнь или утрату. Высоко над горами и лесами пролетали гуси. Это куда же они летят, в какую дальнюю сторонушку? Неужто правда, что есть теплые земли, где никогда зимы не бывает?

Почему ж тогда они плачут, улетаая, печально машут крыльями? Вон как тоскливо перекликаются. Ах, разнесчастные!..

Горы, леса и дальние утесы, казалось, приуныли и покорились тому, что неизбежно нагрянет не сегодня-завтра. Бабушка еще вечером сказала, что небо пахнет снегом и в ноге ноет.

В эти последние дни по утрам либо шел мелкий дождик, либо висел холодный туман, либо искрился и хрустел под ногами иней — обильный и плотный, как сухой мох на таежных скалах. Иней — почти всегда признак хорошей погоды. После его легко дышать, и весь день потом светит солнце.

Пока снег еще не выпал, младшие Осокины отправились попроведать знакомые места и как бы попрощаться. Сначала пошли на старую пасеку. Убитая инеем трава согнулась и поникла. Вокруг берез и осин широко желтела опавшая листва, почти совсем укрыв полегшую траву, повисла на голых сучьях кустов и зонтичных вершинах сухих высоких дудок. А одна пушистая приземистая пихточка так и светилась застрявшими в хвое золотистыми, красными и сизыми листочками, будто ее нарочно украсили.

Рябины, черемухи, бузина, которую еще называли цевошник, или пищальник, таволожки, акация, тальник, березняк, осинник, волчий ягодник — все уже оголилось, лишь редкие листочки печально висели где-нибудь на самом верху. Зато пихты среди всей этой голизны стояли особенно свежие, зеленые. Да еще на диво рясная выдалась рябина. Там и тут, наперекор темной зелени пихт и побуревшей траве, рубиново горели многочисленные кисти, похожие на круглые пряники. Кусты рябины стояли внаклон, вразлом, вразвал, потому что иначе им стоять не под силу. Так же ярко и далеко виднелась ягода-калина. Да и черемуха еще не осыпалась, но она была заметна только вблизи, потому что все у нее темное.

Вовсю хлопотали дрозды, жуланчики, снегири, свиристели, ронжи и еще какие-то неведомые пташки. Высоко над лесом, всматриваясь в осеннюю даль, пролетел большой черный ворон и трубно прокричал. Хорошо ходить по опавшей листве! Не то что летом, когда ничего не стоит запутаться и упасть. Все проступило, показалось, обозначилось в настоящих своих величинах, контурах и видах. Осела, полегла трава, и стали видны все большие и малые валежины, муравьиные гнезда, остатки пней и даже толстые сучья, упавшие с лесины.

Далеко слышится всякий звук и шорох. Пташки ли в лист-

ве копошатся, рябчик ли пробежал, белка ли — все слышится. Даже если с черемухи падает переспевшая ягода — слышно. Где-то далеко в черни, в горах, саданул выстрел, и долго потом металось по логам гулкое эхо. А вот где-то залаяли собаки. Так лают они только осенью, когда идут по следу хорошего зверя, когда леса уже сквозят, пахнет снегом и все далеко слышится. Где-то усердно стучит дятел: «Чу-р-р-р-р... Тыр-р-р-р-р!» Где-то жалуется черная желна...

Пронька, поскольку Сережа, Тима и дедушка все объясняли ему или просто при нем обо всем разговаривали, знает кое-что лучше, чем Генка и Лешка. Когда опять послышался далекий выстрел, Пронька сказал:

— Это в Кузып-кане стреляют. Тятя и братка Ваня там охотничают.

И это, наверно, правда. Давно уж дома нет Ивана и Федора Васильевича: ушли барсучить и белковать.

Осенью у Осокиных всегда бывает барсучатина. Едят ее все, даже Катерина, которая долго считала мясо барсука поганим. А дедушка и бабушка говорят, что барсука есть полезно. Барсучатину тушат с картошкой и луком в чугунах и жаровнях, а то и в пирогах запекают. Такие пироги называют почему-то курниками.

Долго они бродили в тот день по лесу, бороздя ногами, чтобы листва хорошо шуршала, и разговаривая погромче, чтобы послушать эхо. Побыли на старой пасеке, прошлись по тропе, где дедушка кулемки ставил, пересекли лог и Маленькую речку и на Нашей-Ваниной горе побывали. Вот какой путь проделали! И не так уж устали, только есть шибко захотелось.

А на завтра и правда выпал снег. Утром бабушка сказала, что ночью слышала лебедей и сразу поняла, что снег идет. Это почти всегда так — лебеди летят вместе со снегом. Летят ночами: земля белая, и видно, куда лететь. И еще бабушка сказала, что выпала хорошая пороша и самое время теперь белковать, так что отца с дедушкой скоро из лесу не жди теперь.

Снег лежал ровный и чистый. Холодок румянил щеки. Широкие лапы пихт, пологие сучья, зонтики сухих дудок, спины валежин, жерди на поскотине, старый заплот, который начали ломать на дрова, — все было прикрыто мягким, белым и чистым, все успокоено, прибрано и наряжено. По снегу и там, и тут уже набегал кто-то. Вон мышка прострочила в куст двойную маленькую строчку, вон сорока напрыгала, бороздя

лапками и крыльями, вон ласка пробежала длинными и ровными скачками.

Теперь они бродили по снегу, который был им почти по колено. Проньке пришло в голову катать с горы снежные комья, и это здорово получалось. Катится ком — и все больше становится. Палкой стучали они по кустам и тонким деревьям, и тогда с них обваливался снег и с мягким шумом разбивался в пух, падал на головы, на плечи, за шиворот. Набродились, устали, промокли, проголодались.

А дома тем временем опять капусту солили. И в прошлом году ее солили, когда снег выпал.

Таким был этот первый день зимы — бело, уютно, пушисто. Низкое сероватое небо, тайга, затихшая в белой дреме, следы на снегу, хрустящая, холодящая рот капуста и свежие вкусные кочерыжки. И запах парной свежей влаги — запах первого снега.



Зимой редкий день обходился без того, чтобы на заимке не было заезжих и захожих гостей. По старой памяти у дедушки останавливались охотники, дегтярники, углежоги, лесозаготовители — русские и татары.

Отпрашиваясь у матери, Генка с Лешкой частенько ночуют в дедушкином доме. Тут есть санки, на которых они катаются с косогора, есть маленькие лыжи и еще есть наган — ручка деревянная, ствол из патрона тридцать второго калибра. Из нагана, если зарядить его порохом, можно стрелять так же оглушительно, как из ружья. Сережа с Тимой как-то из него стреляли. Но пороха у маленьких нет, без спросу его брать нельзя, боже упаси, а просить и не думай, все равно не дадут и даже пристращают. И вот пока что приходится пустым наганом играть.

Когда к дедушке заходят охотники, — а их сразу видно по обшитым лыжам, ножам на поясах и ружьям за плечами, — Генка, Лешка и Пронька спешат занять места на полатах и ждут не дождутся, когда начнутся разговоры. Нет ничего интереснее, чем слушать рассказы про тайгу, зверье и про то, что случилось с кем-нибудь.

Вот один гость сидит с дедушкой за столом. Это давний знакомый Осокиных, татарин Кабулдай. Лицо у него темно-медное, прокаленное стужей, скуластое и непроницаемое. Чай он пьет не спеша и не глядя по сторонам, всем видом и движениями заявляя о собственном достоинстве и уважении к



хозяину. На Кабулдае холщовая рубаха, холщовые штаны и наполовину холщовые же обутки, напоминающие дедушкины ичиги — просторные, с широкими голенищами, только голенища из холста, а головки кожаные. Каблуков нет, а носки загнуты вверх. В таких обутках татары ходят и зимой, и летом. В сильные морозы выручает их все та же травка-загад, которую запасают в середине лета и хранят в пучках на чердаке. Устелив ею обутки и навертев на ноги вместе с портянками, они могут весь зимний день ходить в тайге по морозу и не страдать от холода. Русские, кто победней и не имеет пимов, тоже спасаются загадом.

Кабулдай заканчивает чаепитие и осторожно опрокидывает чашку на блюдечко.

— Пасиб. Ишо шашка пьем, — говорит он с легким поклоном.

Это означает, что он благодарит хозяев, еще бы выпил, да некуда уж.

Сказывали, что одна гостеприимная хозяйка, не поняв, что означает: «Ишо шашка пьем», сразу же хватала опрокинутую чашку и наполняла горячим чаем. Гость, чтоб не обидеть хозяйку, выпивал еще чашку и снова опрокидывал ее на блюдечко с теми же словами. И вновь хозяйка расторопно наполняла ее чаем. Взопревший гость сначала ослабил пояс, потом, когда уж совсем стало невмоготу, злой и красный выскочил из-за стола, одной рукой поддерживая штаны, а другой опрокидывая на блюдечко чашку.

— Ишо шашка пьем! — в отчаянии взматерился гость по-русски и поспешил на выход.

После чая дедушка и Кабулдай уселись у печи под порогом на широкую, крашеную охрой скамью. Кабулдай — ближе к одному краю, дедушка — к другому. Сидят важно, широко расставив колени и опершись о них ладонями. Дедушка знает татарские привычки и ведет себя почти так же, как гость.

— Ну, Кабулдай, теперь давай покурим.

Дедушка не спеша поднимает полу толстовки и, выпрямляя ногу, запускает руку в карман за кисетом. Карман у дедушки необъятный.

— Тавай. Твоя какой табак? Дюбек? Мириканская?

— Смешал простой с американским.

— А-а. Тавай. Карашо. Я тайга псе куриль.

Иногда они говорят по-татарски, и домашние не знают, о чем это они.

Взяв у дедушки кисет, Кабулдай погрузил в него громадную двухколенную трубку, окованную медью, и набил ее табаком. У него, как и у дедушки, есть огниво и трут. Вставив трубку в зубы, ловко высек искру из синеватого камушка, потом, спрятав огниво и камушек в кожаный мешочек со шнурком, помахал трутом туда-сюда, раздул огонек и дал прикурить дедушке, потом прикурил сам. Курят они не спеша, раздумчиво, и видно, что курить после чая — одно удовольствие. Дымят взапуски — дедушка самокруткой, Кабулдай — трубкой. Молчат. Лишь иногда Кабулдай шлепает губами, посасывая чубук.

— В Кузып-кан ходил? — спрашивает дедушка.

— Ага. — Пух-пух трубкой, шлеп-шлеп губами. — Ага, Кузып-кан кадилъ.

И опять молчание.

— Как зверь-то нынче — есть там?

— Та есть, мал-мал. — Пух-пух, шлеп-шлеп. — Мал-мал есть.

— Медведя не встречал?

Пух-пух, шлеп-шлеп...

— Пашто не стричал? Стричал. Кудой шибко. — Кабулдай опять замолкает, попыхивая трубкой, пошлепывая губами, поплеывая на пол. — Ишо летом стричал. Пряма у кулемка. Я его гляжу, он меня глядит. Глядел, глядел, да ка-ак поглядит!.. И пошел своя тарога. — Еще помолчал, покурил Кабулдай и добавил, щурясь в улыбке: — Я его материл, мал-мал. Его совестно стал.

Это была шутка. Но Кабулдай и дедушка усмеваются не дольше, чем требуется времени на одну затяжку. И опять сидят беспристрастные, сосредоточенные.

— Давно дома-то не был? — спрашивает дедушка.

— С самой писна не был. Пашти полгод не был. Крот имал, белка стрелял, каланок добывал, орека запасал, пчелка три колодка нашел.

— Как орехи-то нынче?

— Сиредний арека. Много кедра сапсем голый. Потом голодный белка прибежалъ откуль-то. Псе сраза съель.

Беседуют они о всяком разном: кто как поохотился, в каком колхозе сколько на трудодни дали, что почем стоит, как лучше заключить договор — единолично или от колхоза. Говорили о Ягулове, которого и след простыл.

Но больше всего младших Осокиных взволновал, конечно, рассказ о медведе, который глядел, глядел, да как поглядит!

Сами они никогда живого медведя не видели, а дедушка и Кабулдай почти каждый год видят. Но шкуру медвежью и они видели — бурая, лохматая и тяжеленная. И еще им известно, что у медведя страшная сила. У лошади сила — как двенадцать человеческих, а у медведя — двенадцать лошадиных. Вон какой зверюга!

С печи окликает Михеевна:

— Федька, подыми меня. Покурю. Да сверни мне сам папирёсину-то.

Совсем плохая стала Михеевна. Лежит и лежит, даже пролежни появились.

Дедушка свернул папиросу, поднялся на печной приступок и помог Михеевне. Теперь они дымят втроем, и на полатах, где лежат маленькие Осокины, совсем уж дышать нечем.

— Не курите ребятешки, когда большие станете, — тяжело дыша, говорит Михеевна.

Теперь она — кости да кожа, но все равно широкая и тяжелая. Раньше Михеевна шибко похожа была лицом на царицу, которая нарисована на старых деньгах. Теперь в ней было что-то птичье и жалкое.

— А шама, бауска, все курис и курис, — говорит Лешка с полатей.

Михеевна скрипуче смеется и колышится.

— Золотой ты мой. Верно говоришь. Да я-то уж помираю, дак мне все равно. Я-то уж смальства курю. А вы не привыкайте.

Бабушка устала, сказав такую длинную речь, и долго не могла потом отдышаться.

— Федька, это кто с тобой сидит-то? — спрашивает она.

— Кабулдай, мама. Не узнала, что ли?

— Кабулдай! Ну, здорово, что ли.

— Старова живешь, Микеевна! Как живешь-та?

— Умру я скоро, Кабулдай. Умру. Пора мне.

— Тибе, однака, сто годов есть?

— Есть, Кабулдай, есть, однако.

— Ишо поживи маленька.

— Ой, хватит. Пожила. Да смерти-то все нет. Заблудилась она где-то, позабыла обо мне.

Все это сказала она спокойно и искренне. Видать, и вправду хотелось ей помереть. Но маленьким Осокиным очень горестно сделалось от таких ее речей.

Долго беседовали дедушка с Кабулдаем, а они все слушали. Потом во дворе заскрипело — приехал какой-то обоз,

и дедушка с Кабулдаем пошли встречать. Маленькие Осокины скатились с полатей и высторожились в кухонное окно. Обоз длинный. Лошади заиндевели, дышат паром, воза тяжелые — сено, овес для лошадей, бочка с керосином, бочка с постным маслом, мешки с мукой, целая туша мяса, круги жмыху. Да еще пилы, топоры, тулупы, дохи.

Мужики обветренные, безбородые, не похожие на дедушку, и шапки на них самые разные — собачьи, мерлушковые, заячьи, кроличьи. А на руках — либо обшитые материей рукавицы, либо мохнашки. Под тулупом у каждого полушубок или стезенка, перехваченная опояской. Есть нарядные опояски — цветные, в крестиках, в клеточку. Все это хорошо видно в талое окно.

Вот один из мужиков ввалился в дом, и впереди него по полу волной покатился морозный воздух. Пахнуло стуженой овчиной, махоркой, степным сеном, керосином, пшеничным хлебом.

— Здорово живете, хозяйева! — говорит он.

— Милости просим, — отвечает бабушка Варвара, — проходите вперед.

Мужик держит в руках заиндевелую холщовую торбу, в которой бугрятся большие булки и каральки.

— Да мне бы вот хлеб растаять, хозяйюшка...

— А вот сюды, на припечек-то, и ложьте, — указывает хозяйка. — Пока лошадей уберете, оно и растает.

Мужик оставляет торбу на припечке и выходит на улицу помогать своим.

Через окно слышно, как переговариваются приезжие, покрикивают на лошадей и друг на друга. Лица веселые, — наверно, довольны, что наконец-то приехали к теплу, а может, для сугреву дорогой выпили. Среди них есть совсем молодые парни. Двое вон уже поборолись и теперь снег друг с друга отряхивают. Есть и пожилые. Вон стоит дяденька с длинными усами, а на усах сосульки. Под мышкой держит портфель и ничего не делает, только переминается с ноги на ногу да рукой что-то указывает. Спросили у бабушки, кто это такой, и она сказала, что это, наверно, десятник.

Дедушка показывает, куда ставить лошадей, а приезжие все подбирают сбрую, оббивают топорами полозья и обледевшие копыта лошадей, стаскивают мешки в амбар, скатывают бочки, сметывают сено с саней прямо на снег. Наконец все разгрузили, а сани поставили рядком — оглоблями вверх. Под оглобли у головок саней поставили дуги. Одни согнуты

кое-как, оструганы неровно, кривобокие, с надломом, другие — как игрушки, гладенькие, крашенные, расписные, окованные поверху и с колечками посередине.

Стемнело. Мужики, раздевшись, завалили тулупами весь угол под порогом и сидели в ожидании самовара.

И вот опять, свешиваясь с полатей, допоздна слушали Генка с Лешкой, о чем мужики говорят.

Эти приезжие были из степи и сказывали, что там у них не только колхозы, но и мэтэесы — с тракторами, сеялками, жнейками, молотилками и даже такими машинами, которые сами и жнут, и молотят. А в Старой Барде, в магазине, самокаты продаются. Садись, ногами крути и шпарь по дороге! Да еще в Старую Барду из города автонабили бегали все лето — на бензине работают. Чудеса да и только! Да то ли еще будет!..

И еще бы слушали, да глаза уж слипаться начали.

Наутро стало известно, что мужики-лесорубы останутся квартировать у дедушки до самой весны. К тому времени они должны выполнить план по кубам. Много кубов должны напилить и вывезти в штабеля. И сами мужики называются кубатурщики. В разговорах все упоминают, какой колхоз, куда и сколько послал кубатурщиков.

Теперь Генка с Лешкой почти каждый день ночевали у дедушки. Дома их ругали, — мол, и без вас там тесно, а они аж слезно просились. Разве не любо слушать, о чем говорят мужики? Любо смотреть, как они из черни возвращаются.

Вот в логу из пихтача показалась одна лошадь, другая, третья. Вот уже длинная вереница лошадей с санями. Издали лошади кажутся маленькими, как собачки. Трух-трух-трух — бегут лошадки, паром дышат, инеем покрылись, наработались, а все равно торопятся к овсу, к отдыху. Вот обоз уже совсем близко, видны покрасневшие лица кубатурщиков, слышатся усталое фыркание, скрип полозьев, хруст замерзшей сбруи. Вот мужики распрягают лошадей, прибираются, вваливаются с морозу в дом, и от них пахнет лесом. Вот кто-то вынимает из-за пазухи кусок пшеничного калача и говорит, что это лисичка ребятишкам гостинчик послала. Маленьким Осокиным и верится, и не верится в доброту лисички, в ее человеческое внимание к ним, но гостинчик так удивительно вкусен и так хорош, что ни с каким хлебом не сравнишь.

Вечерами, при свете керосиновой лампы, мужики точат пи-

лы и топоры, заменяют сломанные топорщица, перебирают и чинят сбрую. Бабушка накладывает заплатки на их порванные штаны и рукавицы. И все это с разговорами. Чего только не услышишь!

По утрам, еще в сумерках, длинный обоз уходил в заснеженную тайгу. И почти каждый раз Генка, который вставал раньше всех, провожал обоз, стоя в кути на лавке и глядя в рассветное окно. В логах еще темно, жутко чернеют пихтачи, на небе звезды, а далеко-далеко над краем тайги, как светлая голубая льдинка, занимается рассвет. На улице мороз, тусклыми искрами поблескивает снег, скрипят настывшие сани, над головами лошадей и мужиков клубится пар... Вот лошади запряжены, кто-то уже выехал на дорогу, а за ним тронулся и весь обоз. Мужики в тулупах правят лошадьми, стоя и помахивая концами вожжей. На повороте весь обоз виден сбоку. Лошадь — сани, лошадь — сани, лошадь — сани...

В конце зимы, когда сильно припекать стало, с крыши зазвенела капель и повисли сосульки, когда пихты отряхивали последние комья снега, лесорубы устроили прощальное гулянье.

Зимой и весной на каникулы приезжали Сережа с Тимой. Как они изменились! Волнующе и заманчиво пахли их книжки, тетрадки, пеналы с карандашами, резинками и перышками. Как много было новых слов в их разговоре, какие фокусы показывали, какие сказки говорили! То и дело они упоминали о каких-то новых своих дружках и знакомых. Слушать их интересно, но и ревнительно. Оказывается, и чужих можно любить, можно дружить с ними, удивляться им и хорошо помнить всех. А как же свои? Если любить других, то не забудутся ли свои — Генка, Пронька, Лешка? Да нет, вроде бы незаметно, что свои-то забылись. Целыми днями возятся с ними Сережа да Тима — бороться заставляют, пальцами тянуться, бодаться. И еще испытывают, кто быстрее на печку и на полати залезет. Лешка как-то сорвался с полатей, и Сережа его уже на лету поймал.

Вообще, у Лешки больше всех царапин и синяков. Он ни за что не хочет отстать от Генки и Проньки. Если у Генки шрам от корыта остался, то у Лешки потому, что еще маленьким в окно выпал и лбом о завалинку ударился. Шрам у Лешки аккуратный, как маленький пельменчик.

Лбы у всех разные. У Генки еще с пеленок на лбу бороздочки обозначились — в отца выдался: у того лоб, как сти-

ральная доска. У Лешки лоб гладенький и выпуклый, как арбузик, а у Проньки — пологий и невысокий. Из всех Пронька самый спокойный и осторожный, потому и ссадин, и синяков у него меньше, штаны и рубаха всегда целенькие.

Когда Сережа был дома, он много играл на гармошке. До чего хорошо и складно играл! Любую песню! «Вот умру я, умру...», «Бежал бродяга с Сахалина», «Вставай, проклятьем заклейменный», «Красноармеец был герой», «Далеко в стране иркутской», и еще много, много других. И подгорные всякие, и подпляски, и саратовские. Когда он играл подпляски, то маленьких заставлял плясать. Пронька топтался на месте, все под ноги смотрел, а Лешка носился по кругу, подпрыгивал бочком и ладошками хлестал себя по бокам.

Весело было, пока Тима и Сережа дома жили, а ушли — и тоскливо стало. А тут еще Михеевна померла. Дождалась-таки смерти. Откуда-то много незнакомых старушек собралось, снарядили Михеевну, уложили в гроб, убрали цветами, богородской травкой окурили. Появился в доме поп Миша, помолился, почитал книжицу, пахнущую ладаном, и уехал на дрожках с каким-то незнакомым мужиком. Весна была, все цвело, росло, жило и радовалось. А Михеевна в землю сырую ушла. Как тут было не горевать?..

А дома у Генки с Лешкой отец с матерью все спорили насчет колхоза. Отец от колхоза охотничал и мать в колхоз звал, чтоб совсем туда переехать, но она все не соглашалась. Иди, говорит, а я одна тут с ребятишками жить буду. Генке и Лешке тоже не хотелось уезжать с заимки, от дедушки с бабушкой, от Ваниной-Нашей горы, от Калташки и Маленькой речки, от всего, что было здесь. Но уже ясно было, что отец перетянет.

И вот они все-таки переезжают в Стародубку. Жить предстояло в избе дяди Яши — той самой, где семья Ивана Осокина жила на заимке, пока строили новую избу. Сам дядя Яша уехал работать по вербовке на какой-то завод, а тетка Дора перебралась к своим родителям.

Пожитки отец перевозил на кляче чалой масти по кличке Макариха — раньше она принадлежала какому-то Макарову. Лешку и Федюшку на время переезда отправили гостить к бабушке Соломее в деревню Малиновку, а Генку мать повела теперь в Стародубку пешком, потому что Макариха с поклажей едва плелась. Отец тоже пошел рядом. Поехали

кружной дорогой, где ездили на телегах и где перевал через гору был ниже и не такой крутой. А мать с Генкой пошли прямушкой, которая была почти вдвое короче тележной дороги.

Прощай, дедушка, прощай, бабушка, Сережа, Тима, Проня! Генка уходит в дальнюю сторонку, в чужую деревню. Скоро ли доведется свидеться?

Мать говорит, что у Генки и в Стародубке будут хорошие товарищи. Там у дяди Яши и тетки Доры Кузька уже вырос и почти как Лешка стал. Генка с ним играть будет. А как обживется на новом месте да подрастет маленько, так с Кузькой и другими ребятами будет бегать к дедушке в гости. И пусть Генка запоминает эту дорогу, по которой они сейчас идут.

До самого дегтярного завода шел Генка с плачем. И зачем нужно покидать родную дедушкину заимку?..

Когда мать с заимки стала ходить на работу в колхоз, Генка с Лешкой, бывало, никак не хотели отпускать ее. Но она уходила по утрам, когда маленькие еще спали. Летом ведь не то что зимой — до солнышка спится. Тогда мать работала на покосе, близко от заимки, на Калташинском лугу. В обед успевала прибежать домой, проведать ребятишек, избу и хозяйство. И почти всякий раз Генка с Лешкой гнались за ней, когда она опять уходила на работу, плакали. Но пусть бы лучше ходила мать так на работу, чем совсем покидать заимку.

Или пусть бы так было, как в прошлом году, когда пшеницу жали серпами. Мать с отцом поехали жать пшеницу и взяли с собой Генку с Лешкой. Ехали, ехали по дороге вниз по Калташке, — и вот она, пашня, — справа на пологом солнечном косогоре. Сразу запахло по-другому: нагретой землей, жабреем, полынью и коноплей. Пашня показалась пыльной и колючей. Потом ничего, привыкло. Долго ехали краем, пока не выдался чистый лужок с черемухой и ключиком под ней. Тут и стали станом. Натянули положок из брезента, расстелили одеяло. Хорошо! Голову не пекло, ветерок гулял под пологом и комаров почти не было. Залетали только мухи, пчелки, осы, шмели. Это потому, что в головах, в холодке у ключика, в торбочке стояла еда — молоко, хлеб, яички, лук и бутылка с медом. Вот на мед-то и летели. Все мед-то любят.

Мать с отцом жали, Буланко со спутанными ногами прыгал по лужку и траву хрумкал, а Генка с Лешкой то под по-



логом сидели, то в конопле лазали. Конопля была, как молодой пихтач, — густая, высокая и зеленая, а посконь в ней напоминала пихтовые же сухостоины. Уже семена появились. Пригни коноплю, вышелуши семя в ладошку — и жуй себе. С коноплю-то их и разморило — захотелось спать, и уж так сладко спалось на чистом вольном воздухе, в тени полужка! Ветерок гладил лицо и чуть-чуть шумел черемухой, в изголовье потихоньку мурлыкал ключик, а под самым пологом звенели безобидные мухи-трясунцы.

Как выспались, так есть захотелось нестерпимо. И шибко все было вкусно, никогда так не было. Простой кусочек хлеба мажай в ключик — и ешь. А захотел пить, бери дудочку и пей из того же ключика. Пей и гляди, как на дне песчаные блестки играют. Потом они залезли на черемуху, и видно было, как много уже снопов нажали отец с матерью. Где стояли снопы, там пашня, как стриженная была, а дальше колыхалась желтая, бесконечная, и не верилось, что всю ее сожнут и обмолят. Над пшеницей там и тут торчали головки осота и татарника, и пух от них летел над пашней. Такой и запомнилась пашня.

А теперь вот они едут куда-то... Ох и неохота! Но мать все идет и Генку зовет, не велит отставать. Далеко зашли уже. Дорожка торная — еще торней, чем та, по которой с дедушкой ходили. Лес стоит высокий, толстый, сочный — больше осинник и березник. Вверху дует ветер, и вся листва мельтешит, сверкает, колышится, и гулкий шум разносится далеко вокруг.

Постепенно стало утихать Генкино горе. Он стал любопытствовать и разговаривать с матерью.

— Мам, а это чо?

— Мухомор. Вишь, какой пестрый и нарядный. Красивый, а обманщик. Есть-то его нельзя: поганый он, с ядом.

— Я вот тебе! — погрозил Генка мухомору. — Мам, а это чо?

— Это груздок, груздочек! Вишь, какой ядрененький. Это хороший грибок, его солят на зиму.

— А счас исть его можно?

— Нет, сейчас он горький. Его сначала солить надо.

— А-а...

Так и спрашивал Генка то про одно, то про другое. А чо такое верста? А чо такое колхоз? А чо такое трудодни? А чо делают в колхозе?

Мать отвечала, а потом сказала, что сейчас они спустят-

ся в Степкин лог, пройдут известковые ямы, и покажется Стародубка. Теперь уж совсем близко.

И правда, скоро за ложком показались белые шапки известковых насыпей, красная, обгоревшая до кирпичного цвета глина топок, зола и угли, размытые дождями. Дальше зеленели картофельные посадки. Значит, и впрямь деревня близко. Еще прошли — и показалась первая изба. Она стояла на выходе из Степкиного лога, на самом берегу речки, которая была много больше Калташки и текла бесшумно в глубоких, глинистых берегах, сильно заросших тальником.

Дорога свернула вправо вниз по берегу, и тут открылась вся Стародубка. Большая часть домов стояла в косогоре. Самая середина высокого косогора когда-то сползла вниз, но теперь уже заросла травой, устоялась. На прилавке, образованном оползнем, стояло несколько изб. А остальные постройки левобережья были выше оплыва, как бы над яром, и поэтому казалось, что у деревни два яруса. Главная улица тоже шла поверху, начинаясь в восточном краю, потом поднималась на яр, шла над самым его краем и круто спускалась в другом конце деревни как бы в ложок, а по ложку заворачивала на луговину и упиралась в мост через речку. То была верхняя заречная улица. Нижняя улица тянулась по правому берегу и была дорожная, проезжая. Постройки тут стояли только с одной, береговой, стороны, и было их меньше.

Вся деревня дворов в тридцать, но Генке показалось, что живет тут полно всякого народу. Он никогда еще не видел такого скопления домов в одном месте. Это уж потом, через много лет, поймет он, что Стародубка, в сущности, маленькая деревушка. И еще поймет, что место для деревни было выбрано неповторимо красивое. Долина тут сильно расширялась и была похожа на изогнутый рыбий пузырь, в широкой части которого два полукруглых острова, разделенных рекой. Левый остров побольше и чистый, только посередине росла большая развесистая береза. На этом острове паслись телята, жеребята, свиньи, гуси, утки, и поэтому весь он был притоптан и выравнен, как широкое подворье, травка на нем низкая. Это было любимое место ребячьих игр. Тут хорошо и в лапту играть, и в догонялки, и всякие сражения устраивать. А правый остров почти непроходим для босых ребячьих ног. Он сплошь зарос высоким островерхим пихтачом, из которого кое-как пробивались к свету редкие рябины, черемухи, березы и осины. Правда, в подлеске много калины, бо-

ярки, таволожника, смородины, малины и шипишника. По общему уговору, никто ничего не рубил на этом острове, и он служил как бы заповедником. Но все это узнает Генка потом.

А сейчас он шел, оглядываясь по сторонам, часто спотыкаясь, и всем существом чувствовал, что тут живут люди другие, непонятные. И пахло тут по-иному — раскаленной пылью большой дороги, преющим навозом большого скотного двора и свежим коровьим пометом, которым уляпана дорога. Наверно, утром по этой дороге пастух прогнал стадо.

Горланили петухи, орали чужие ребяташки, купавшиеся на той стороне, у чистого острова, какая-то костлявая, прямая, как журавлиная дудка, старуха на всю деревню голосила: «У-ути, у-ути, утиньки!..» Другая старуха в замызганном переднике, с большим животом и совершенно овечьим лицом, манила ягнят, метавшихся по двору: «Барь-барь-барь-барь...» Все это незнакомое, непривычное...

Вот к этой-то старухе с овечьим лицом и привела мать Генку и заговорила с ней ласково и вроде бы даже виновато, все время называя ее сватьей. А старуха, как казалось Генке, отвечала грубо и неохотно.

Хозяин дома, Михайло Жиганов, — длинный, заносчивый старик с клиновидной бородой, голубыми выпуклыми глазами, громким, как у гусака, голосом и мясистым носом. В отличие от старухи он был чистый, нарядный. На нем ситцевая в голубенький горошек рубаха чуть не до колен, перехваченная в поясе наборным ремешком. На ногах кижовинные полосатые штаны и густо смазанные дегтем яловые сапоги с высокими каблуками. Голова у старика причесана на прямой пробор, как у попа Миши, густо намаслена и сильно блестит.

Дед Жиган любил пофорсить. Гордо расхаживал по широкому двору, заложив руки за спину, поворачивая по сторонам бороду и бесперечь ругаясь на кого-нибудь. «Кузькя-я! — кричал он, — Кузькя, растудыт-твою! Ты чаво швыряисси?! Уши надяру!..» «Мишкя, Мишкя, ты куды побег, страмец этакий?! А ну вярнись! Уши надяру, змяеныш подколodный!..» Так же ругался он на ягнят, и гусей, и прочую живность. А сам все прохаживался да посматривал по сторонам.

Старик этот, как потом узнал Генка, был отец тетки Доры, дяди-Яшиной жены, а значит Кузькин дедушка. Тетка Дора, после того как дядя Яша уехал на завод, пересели-

лась к нему: дом у старика большой, и домовничать было кому. Сама она целыми днями на работе да еще, случалось, с ночевой.

Старуха называла хозяина Михайлой, а он ее — Хвеклой. Да и всех других называл неласково: Кузька, Мишка, Спирька, Яшка, Генка, Дорка... Кроме Кузьки, у деда Михайлы еще есть внуки: Спирька и Мишка от сына Игната, а Володька, Авдошка, Зинка, Фиенка и Сенька — от старшего сына Василия. В одном доме с Михайлой жили еще один его сын, которого тоже зовут Василием, — Вася-маленький, детина дородный и рослый, и дочь Паранька. Они еще холостые. Всего же в доме жило человек десять, да вот еще Генка с матерью пришли.

Дружба с Кузькой и Мишкой у Генки сразу не заладилась. Когда Генка перешел в свою избу и сидел на крыльце, Кузька с Мишкой обычно торчали у прясла и дразнились: «Конопатый!.. Конопатый!..» Еще они кричали, что Генка влез в чужую избу и задается. Было конечно, обидно, и если бы не дед Жиган, Генка взял бы палку да шуранул их от прясла. Еще было обидно, что Кузька — сродный брат, а сам как чужой. Раньше Генка видел Кузьку раза два на зимке, когда тетка Дора с ним в гости приезжала. Тогда Кузька был слезливый и смирный. А теперь стал большой, шустрый и задиристый. По нескольку раз на дню Кузька с Мишкой принимались бросать в Генку камешки. Иной раз попадали и радовались. Но он терпел и не плакал — еще чего не хватало!

После обеда дед Жиган ушел спать под черемуху, и тут его внуки совсем распоясались. Перелезли через прясло, — считай, нарушили границу, — и кинулись на Генку с палками. Генка сперва думал, они это нарочно, чтоб напугать, а они взаправду налетели и ударили. Тут Генка, хоть и старше был, а не стерпел, схватился. Мишка поддался легко, Генка швырнул его, и он больше не лез, а Кузька сильный оказался. Еле свалил его. Надо было сразу вертануть, так жалко, — все же сродный брат, да и младший. Все же жмякнул Кузьку, а тот в рев. И Мишка заревел.

Такой рев подняли, что дед проснулся. Выскочил из-под черемухи, схватил удилице и побежал на Генку. Но дальше прясла не пошел, зато уж шумел так, что Генка чуть не оглох от рева:

— Чаво швыряисси?!.. Чаво швыряисси?!.. Мотри у мене!.. Тут на жигановском дворе появился Спирька — старший

Мишкин брат и Генкин одноклассник. Ростом он повыше Генки. С утра до вечера бегал Спирька по деревне с другими ребятами, а к Генке совсем был равнодушен, видимо, не считая его равней. Но теперь ему пожаловались Мишка с Кузькой, и он заинтересовался Генкой.

— Эй ты. Давай бороться! — окликнул он, закатывая рукава и подбочениваясь.

Лицо у Спирьки румяное, голубоглазое, красивое, без конопушек. И вовсе не злое, не ошалелое, как у Кузьки с Мишкой.

— Если драться не станете, буду бороться, — ответил Генка.

— Не. Не будем. По правде давай бороться. Давай?

Генке и самому хотелось побороться по правде. Как-то с соседней заимки приходили ребята побольше его, и то он их поборо.

— Ну, давай.

Сначала Спирька попер на Генку, а потом Генка стал пересиливать. Спирька размяк, и Генка шибко ударил его о землю. Ему показалось, что Кузька — и то сильнее.

— Не в счет, не в счет-ет! — заорали Кузька с Мишкой. — Сызнова боритесь.

И сызнова Генка поборо.

Кузька с Мишкой собрались было заплакать от обиды, но сам Спирька держался молодцом. Нисколько не обиделся.

— Ты силач, — сказал он Генке, отряхиваясь. — Теперь и в нашем краю есть силач. А в нижнем краю силач — Колаха Казанцев. Тебе сколько лет?

— Шесть ли чо ли...

— А Колахе восемь. Он всех сильней у нас. Никто его поборо не может.

— Вот Колаха тебе даст! — погрозил Мишка.

— За что? Мы же по правде боролись.

— Правильно, — сказал Спирька, — а вы, — он мотнул головой на Кузьку с Мишкой, — вы играйте между собой. Он вам не ровня. Мы с ним будем играть. Даешь? — и Спирька протянул руку.

Генка первый раз услышал это слово: «Даешь», и оно ему сразу же поглянулось. И потом, когда случалось приходиться к общему согласию, Генка и сам кричал это слово: «Пошли на остров! Даешь!..» «Пошли купаться! Даешь...»

Генка и Спирька пожали друг другу руки, и хоть в борьбе победа была за Генкой, Спирька показался ему героем.

Генка даже позавидовал, что Спирька умеет говорить такие слова и так просто держаться. Молодец, Спирька!

●  
Засыпая вечером, Генка думал, что день прошел хорошо. Пусть Кузька с Мишкой, как шершни, налетали, зато и он показал им. Пусть знают.

Ночевали уже в новой избе, но опять без отца — он ночью пас колхозных лошадей.

Мать, наверно, догадывалась, что Генка тоскует по заимке. И вот сказала, что совсем рядом присмотрела местечко, где чебаки так и ходят, так и ходят. Только утром пораньше надо встать. Сама она шибко любила, удить рыбу, и когда была маленькая, лучше иных ребяташек рыбачила.

Мать разбудила Генку чуть свет. Так рано в летнюю пору он еще никогда не вставал. В деревне тихо, все еще спят в домах. Зато вокруг — в лесу, в кустах на кривуне, на острове за старицей — все щебетало, аукало, куковало. Лились ручьем и сыпались мелкой дробью разные птичьи голоса. Было еще прохладно, в воздухе толклись комары, и на всем густо блестела роса — она лежала маковыми зернышками даже на дороге перед взвозом.

Радостные голоса птиц, казалось, заполняли весь мир. Тут и там, далеко и близко, звучат птичьими голосами каждый куст, каждое дерево, и от всего этого под тихим утренним небом стоит звон, а по лесу половодьем гуляет эхо и делает еще мощнее это утреннее песнопение.

За речным кривуном, затопляя верхушки пихточек, плавал ленивый туман, и оттуда слышался мелодичный бряк ботала. Там, наверно, паслись лошади. Слышался и крик петухов, но по сравнению с бурным пением пташек голоса их казались ленивыми и хриплыми.

Мать взяла лопатку и тут же, у избы под завалинкой, быстро накопала червей. Генка кидал их в старый отцовский кисет с землей. Потом она сняла с чердака длинное удилище со всей оснасткой, которое, наверно, осталось от дяди Яши.

— Ну пошли. С богом.

В одной руке мать несла удилище, в другой котелок, а Генка тащил червей. И в том, как они шли, как старались не шуметь, пробираясь через кусты к реке, как роса обжигала босые ноги, было так много таинственного, что у Генки по спине пробегали мурашки.

И вот сквозь кусты, из-под обрыва, прикрытая легким туманом, глянула темно-синим оком речка Илица.

— Ш-ш-ш. Не шуми... — прошептала мать.

Беззвучно и ловко она отогнула мешавшие ветки тальника, раздвинула высокий пырей, вытоптала пяткой приступок в крутом берегу, усадила Генку и уселась сама.

Наживив червяка и поплевав на него, закинула удочку и почти сразу же выдернула большого серебристого чебака. Потом еще, и еще... Генка чувствовал, как радовалась мать, вытаскивая то чебака, то окуня. И все у нее ладно получалось, и ловко. Даже сопливого колючего ерша сняла она любовно и бережно.

Когда Генка совсем забыл про комаров и сам в азарт вошел, мать сказала:

— Ну хватит. Надо бежать печку топить, еду готовить — да на работу.

— Мам. Ну еще немножко! Мам!

— Мы потом. В другой раз. А сейчас уж поздно.

— Ну и поздно. Еще солнулушко не взошло...

Жаль... Но ничего не поделаешь. Теперь Генка нес котелок с рыбой и удилище и казался себе очень даже взрослым.

В деревне по-прежнему тихо. Только дед Жиган вышагивал по своему двору, громко сморкаясь и покашливая, да коровы среди двора постанывали и сыто отдувались.

Дед увидел Катерину и Генку с удочкой, приосанился и хозяйски подошел к пряслу.

— Ты, Каткья, брытьц мой, чаво так рано шляисси? Аль рыбачить бегала?

— Да ходили вот с сыном. Поучила его немножко. Пусть привыкает. На речке теперь живем.

— Эт верна, — сказал дед значительно и громко. — Илица — речкя, а Калташкя ваша — так сябе. Ну а чаво добыли?

— Да вот чебаки да окуньки. На сковородку будет.

— Да ну?! И не брешитя? А нуко-сь, покажи, подь поближе.

Генка подошел с котелком к самому пряслу. Дед посмотрел, удивился и недовольно сказал:

— Эт вы, наверно, на моем месте рыбачили.

— Да нет, там даже не топтано было. Вон выше вашего прясла.

— Вот, во-от! Как раз и есть мое место. Так что ты,

Генка, брытьц мой, туда рыбачить не ходи: у мене свои огольцы есть.

Мать засмеялась и пошла к своей избе, а Генка за ней. Когда отошли немножко, он спросил:

— Мам, а чо — эта речка его ли чо ли?

— Это раньше здешнее место Жигановых было. А теперь тут все колхозное.

— А чо он?

— Да просто чудной. Распоряжаться любит. А ты шибко-то его не бойся. Он только шумит много, а так ничего.

— Ладно, — сказал Генка.

— Ты, Каткья, братьц мой, мотри не опаздай на работу! — крикнул вслед дед Жиган и тут же зашумел на свинью, уже ломившуюся в огород.

Завтрак в тот день был на удивление. Генка подумал, что если бы мать не ходила на работу, то каждый день можно было бы есть свежую рыбку.

После завтрака Генка решил пойти к Спирьке и рассказать про рыбалку. Проводив мать, он вышел на крыльцо и стал дожидаться, когда Жигановы высыпают из дома.

Тут во двор на хорошем коне, запряженном в ходок с коробом, вкатил Спирькин отец Илюха. Забежав в дом, он вышел оттуда не один, а со Спирькой, наряженным, как на пасху. Сели они в коробок и с места рысью поехали, только ходок застучал. Когда поровнялись с Генкой, Спирька оглянулся на Генку и крикнул, как барин:

— Зачем на батином месте рыбачил?

— А чо — жалко?

— Вот вам батя даст жару!

Генка видел, что Илюха улыбнулся, и это ему шибко не поглянулось. Генкин отец непременно осадил бы за это, сказал бы: «Ишь ты, песова морда».

И уехал Спирька важный-преважный. Конечно — едет на ходке с отцом-бригадиром, и на самом лучшем коне.

Обидно стало Генке. Все утро дожидался Спирьку, чтоб поиграть с ним, а Спирька вон как задается! А вчера руку давал, «Даешь» говорил...

Днем Генка узнал, что Спирька уехал в район и там останетя гостить у какой-то родни. Сказали про это Кузька с Мишкой — похвастались: мол, вот какой у нас Спирька!

Не клеилась дружба с Жигановыми... Кузька с Мишкой теперь вроде боялись Генки — все же он всех их поборол.

Через неделю Спирька вернулся. Он еще долго важни-



чал, но потом они все же помирились, и Спирька стал звать Генку на брод, где играли все деревенские ребяташки. Как раз приехала бабушка Соломея с Лешкой и Федюшкой, и Генку отпустили.

Был уже Ильин день, и купаться, как бабушка говорила, теперь нельзя: Илья-пророк в воду посикал. Но ребяташки все равно купались, только шум стоял.

Генка с Лешкой росли на Маленькой речке да на Калташке, где много камней, а глубоких мест нет, и потому плавать не научились. И теперь в глубину не лезли, а бултыхались возле берега. Спирька и другие ребяташки все поддразнивали: «Эх, вы! Смотрите, как надо плавать! Учитесь!..» Стыдно было, не хотелось отставать, да что поделаешь. Кое-как научились плавать, да и то пока что по-собачьи, возле берега. А вода поднялась. Забрел как-то Генка поглубже, а его с ног сбило и понесло в омут. Выгребал, выгребал, да умаялся, хотел встать на ноги, но до дна глубоко было, с головкой. Испугался, оттолкнулся от илистого дна и долго, долго наверх всплывал, чуть не задохнулся. А как вынырнул, так изо всей мочи погреб к берегу. Воды нахлебался, кашлял долго и мучительно и даже чуть не заплакал. Потом из носу кровь пошла и весь день илом пахло.

У брода речку от старицы отделял небольшой песчаный перешеек, через который то и дело бегали туда и обратно: в речке вода холодная, а в старице теплее. Как накупаешься в речке и замерзнешь, так бежишь в старицу греться.

Бабушка не велела Генке с Лешкой далеко от дома уходить. Да и сами они еще не смели играть на другом конце деревни и держались больше на Жигановском кривуне, у старицы да на Пихтовом острове, где ели черемуху, шипишку и боярку. На этом острове Генка и наколол ногу боярышной иголкой. Иголка так и осталась под кожей. Пятка распухла, нагноилась, и нельзя стало Генке с ребяташками бегать. На одной ноге далеко ли ускачешь?

И вот опять он сидит один на крылечке своей избы, смотрит на дорогу, прислушивается к шуму ребячьих игр и до слез завидует здоровым. А нога болит, и когда заживет, неизвестно.

Однажды во дворе Жигановых Генка увидел хромого, на костылях. И хромой увидел Генку. Он был постарше и по-выше ростом.

— Ты чей будешь? — спросил он.

— Осокин.

— А-а. Ты с заимки приехал?

— Ага.

— Лешкой зовут?

— Не. Генкой. Лешка играть убежал, а у меня нога болит.

— Заживет, — небрежно сказал хромой. — А меня Володькой зовут. Про Васю Жиганова-большого слышал?

— Слышал.

Как не слышать. Василий Жиганов — председатель колхоза и с отцом он в армии служил. Про него дома много говорят.

— Ну так вот, я его сын. Давай играть в складешок.

Генка не умел, и Володька тут же научил его. Надо бросать то прямой, то согнутый ножик-складешок по-всякому, и чтобы он каждый раз в землю втыкался. У кого лучше втыкается, тот быстрее до седьмого колена дойдет, и тот, стало быть, царь, — что прикажет, то проигравший и должен для него сделать. Володька играл хорошо и сразу стал царем.

— Ну, а теперь будешь вадить, — сказал он.

— Как?

— Как, как... Я же сказал: что царь прикажет — то и делать будешь.

Володька выстругал из прутика маленький колышек и вбил его в утоптанную землю.

— Вот. Ты его зубами должен вытащить.

А колышек вбит вровень с землей, и уцепиться невозможно.

— Давай, давай. Когда я проиграю — ты так же забьешь!

Голос у Володьки похож на дедовский. Да и сам он чем-то похож на деда Жигана. И голову так же держит — вверх, и по сторонам зыркает. Ему, наверно, приятно видеть, как Генка зубами землю грызет, как он все лицо испачкал и плевался грязью.

— Давай, давай, брытьц мой!

Генка грыз да грыз землю и о стеклышко губу порезал.

— Эх ты-ы! — еще и укорил Володька. — Ну, давай полегче изделаю. Но знай, что если захочу, — еще вадить будешь. Такое правило.

Володька ножичком подолбил вокруг колышка и разгреб немного пальцами. Теперь Генка смог захватить колышек зубами и вытащил его.

— Давай еще?

— Давай, — сказал Генка: его уж заело.

Еще раз Генка вытаскивал зубами колышек. А потом все же обыграл Володьку, и тот тоже не сразу колышек вытащил, измазался весь. А как вытащил, так вытерся подолом, сморщился и поскучнел.

— Не. Это уже неинтересно, — сказал он. — Давай на палке канаться. Чей верх — тот поедет.

Генка сперва думал, что ехать надо верхом на палке, как они, бывало, с Лешкой делали, когда в кавалерию играли, но когда он проиграл Володьке, оказалось, что верхом Володька поедет на самом Генке.

— Давай, давай, — кричал Володька по-жигановски, — ничо-о, не трусь! Пока шагом или рысью вези, а во весь дух потом повезешь, как нога заживет.

Уговор есть уговор. Володька взгромоздился на крылечко, и Генка подставил спину. Володька лихо вспрыгнул и за Генкино горло руками уцепился.

— Но! Пошел, язви ты!

Генка пошел, сильно хромя, потому что правой ногой можно было ступать только на носок. Володька же прищипывал его здоровой ногой.

— Ха-ха-ха! — ржал он. — Битый небитого везет! Н-но!

И все оглядывался по сторонам, зыркал. Наверно, шибко ему хотелось, чтоб кто-нибудь увидел, как он на Генке едет.

У Генки слезы из глаз катились — так ногу больно было, да еще и дышать трудно. Но он стерпел, довез Володьку до прясла и обратно до крыльца. Володька хоть и длинный, а не тяжелый, если б не нога, Генка его вскачь бы умчал. Подумаешь!

— Ну в расчете. Молодец! — сказал Володька, норовя слезть. А Генка повез Володьку еще и на крыльцо. Да споткнулся. Больной-то ногой — об костыль! Боль была такая, что впору по-собачьи взвыть. Но Генка реветь постыдился, только сморщился весь, заойкал и на ступеньки сел. Из пятки текло — нарыв лопнул.

— О! Дак это же хорошо! — сказал Володька. — Теперь скоро заживет. Давай подавлю.

— Да погоди ты! — задыхаясь от боли и сдерживая рев, осадил его Генка.

Когда боль немного утихла, Володька стал выдавливать. Но кожа на пятке была грубая, толстая и Володькиным пальцам не поддавалась.

— Надо немножко разрезать, — сказал он. — Дай по-пробую?

— Попробуй, только не шибко режь. Как скажу больно — так не режь.

Резать тоже было непросто. Кожа твердая, как рог, потому что Генка все лето босиком бегал. Все же кое-как расковыряли. Володька ранку выдавил до крови и достал темный гвоздок — боярышную колючку. Генка встал на ноги и сильно подрыгал туда-сюда. Ничего, нога не так уж болела, а пятка стала пустая и легкая.

— Бабка-а! — закричал заполошный Володька. — Бабка, иди суды!

Бабушка Соломея выскочила на крыльцо.

— Ой-ой-ой, варнаки вы этакие!.. Господи Иисусе-Христе. Да что вы натворили, окаяш-шие! Что вы наделали! А-а...

Она сбегала в избу за святой водой, промыла Генкину пятку, приложила листок подорожника и с молитвой перевязала ногу чистой холстинкой. Генка вытер все, что натекло из пятки и подмел приступки. Боль между тем совсем утихла, и жизнь показалась прекрасной, как и прежде.

Пока Генка не мог еще наступать на пятку, Володька его частенько навещал. За здоровыми ребяташками ему трудно было на костылях угнаться, а с Генкой — в самый раз. Всем бы хорош Володька, да игры у него все такие, что кому-то на ком-то ездить приходилось. Это, наверно, оттого, что хромой до смерти любил лошадей. А то землю надо было грызть, лоб подставлять под щелчки или шею гнуть. Тебе гнут, а ты терпи. И почти каждый день шея болела.

Когда нога зажила, Генка пошел к Володьке в гости. Дом его, как и Генкин, стоял рядом с проезжей дорогой, только на другом конце деревни, у моста.

Володька с Фиенкой домовничали и огород стерегли. На руках у них были еще Авдошка да Семка, почти такой же маленький, как Федюшка у Осокиных. Мать с отцом, как и у других колхозников, тогда с ночевой на полевых работах были: как раз приспела жатва и молотьба.

Володька выставил две крынки простокваши и разломал плоский, как подсолнечная шляпа, каравай хлеба.

— Фиенка! — распорядился он, как дед Жиган. — Иди в огород, сорви нам арбуз побольше!

Потом еще арбуз сорвали, и еще. Весь стол завалили огрызками, а над ними летали мухи, осы, пчелы — окно открыто было. Когда наелись и напились, Володька распорядился

завесить все окна дерюжками и одеялами, чтоб мухоту и ос в раскрытую дверь повыгонять. Потом закрыли двери и вповалку легли на пол отдохнуть.

В затемненной избе стало прохладно, и никуда идти больше не хотелось, потому и разговаривали про всякие разные дела. Володька говорил, что Колаха Казанцев, Спирька Жиганов да какие-то еще не знакомые Генке ребята уже в колхозе нынче работают — коногонами на молотье. А когда сенокос был, копны возили, заработали трудодни.

Володька в отличие от Генки называл своего отца не тятей, а папкой, как и Спирька.

— Папка председатель, дак люди думают, у нас все есть, как сыр в масле катаемся. А мы живем, как и все. Даже хуже. Папка говорит, нам нельзя выделяться, а то народ недовольный будет. И мамку загонял. Дажить в субботу на работу турит. Надо, говорит, чтоб мы пример показывали как работать.

В самом разгаре была молотья. По расчетам, ее закончат лишь к Новому году. Еще не все снопы свезены к токам и уложены в кладь.

Незаметно подходила осень. В ведренные дни по утрам уже выпадал иней. С севера на полдень летели гуси. Лес все больше пестрел. Крутая Осиновая сопка издали казалась совсем желтой, как свежий омет соломы. На тиховодье чуть не до полдня держалась льдистая пленка — тонкая, как слюда, и рисунчатая, как кружево. На тихую потускневшую старицу опускались первые палые листья.

Как-то выдался прямо по-летнему теплый и ведренный день. Генка с Лешкой пошли на Илицу порыбачить — возле жигановской бани, где лежал на воде большой деревянный круг. Удочка у них была одна на двоих. Воткнули удилице в укромном местечке меж кустами, а сами стали играть на круге. Один торчком бросал в воду палочку, а другой отгадывал, как она пойдет. Если нырнет вглубь, значит «нырок», если сиганет в сторону — «щука». Кто отгадает, тот снова бросает, а другой палочку достает. И вот Лешка потянулся за палочкой да булькнул с круга вниз головой. Дед Жиган как раз возле бани возился и видел, как Лешка нырнул.

— Уто-оп! Лешка уто-оп! — закричал он.

Генка хотел было уж в воду бухнуться — Лешке на помощь. Да тут возле берега показалась какая-то кочка. Она

лезла на берег, пыхтела, фыркала и плевалась. Это была Лешкина голова.

Отплевался Лешка, отдышался и с гордостью объяснил, как выбрался. Плавать он не умеет, так по дну пополз. Сначала головой в ил воткнулся. А как голову вытащил и открыл глаза — увидел коряжину и по ней до берега добрался. Молодец Лешка, не растерялся!

Игра больше не ладилась, пошли домой.

А дед тем временем расшумелся на всю Стародубку. Дескать, лезут к воде, сопляки, а плавать не умеют. Вот возьмет он прут да как выпорет...

Но Генка с Лешкой теперь не боялись деда.

Бабушка, как увидела мокрого Лешку, всполошилась, закудахтала:

— Ох-ох-ох! Матушки мои!.. Лешачата окаянные!..

Но и к этому они отнеслись спокойно. Лешка залез на печку под тулуп и быстро уснул.

В тот день Спирька, Кузька и Мишка убежали на другой конец деревни, играть Генке было не с кем, он посидел немного на крылечке и пошел на косогор, заросший пихтами. Ему давно хотелось там побывать.

Перед самым пихтачом в тени серебрился иней. Здесь он весь день не таял. Надо же! Генка вышел на солнечный мысок, обрывавшийся небольшой скалой, и сразу увидел всю Стародубку. Никогда еще не забирался он так высоко. Страх, радость и ликование теснились в груди. Перед ним открылись далекие-далекие незнакомые горы. Они голубели высоко в небе, как бы полурастворяясь в нем. Что там?

Видно было, как виляет Илица. Вот она течет с полудня, упирается в горный берег, где лепится дорога и поблескивает родник, из которого берут воду, вот поворачивает почти назад. А там опять косогор встал на ее пути, и она так же круто загибается в другую сторону. Вся Илица, куда ни посмотри, сплошь в загогулинах. Тут, где стоит Стародубка, у нее три русла. Одно прямое, меж островов, другое в обход Пихтового острова — это старица, третье — в обход Чистого острова, где играют ребятишки. Эти острова — как штаны-галифе, только одна штанина повыше, другая пониже. По сторонам этих штанин стоят избы, бани, пригоны. Красота!

Полюбовавшись высотой и простором, Генка стал ковырять палкой в земле, будто мог найти тут какой-нибудь клад. Земля черная, перегнойная, как в огороде. Но в глубине начинался голый серый камень. Генка покопал в другом месте и в

сухом мусоре, перемешанном с землей и пылью, увидел белые аккуратные шарики. Неужто змеиные яйца? А вдруг змея рассердится и ужалит? Ноги-то босые. Но змеи видно не было. Генка осторожно взял один шарик в ладошку. Он мягкий, вместо скорлупы — белая и тонкая, как бумага, пленка. Всего таких яичек Генка нашел штук десять и все уложил в карман. Будет чем удивить Лешку, и жигановских, и других ребяташек.

Потом поднялся выше по мыску, где стояли тонкие и частые пихточки, пробрался сквозь них, вдыхая сухой смолистый воздух, и очутился на следующей площадке. Здесь лежали белые кости. Сначала Генка подумал, что поблизости прячутся волки и это их работа. Стал кричать Дамку. Услышав, как она взвизгнула под горой, Генка повеселел, — значит, сейчас прибежит.

Дамка-то и напугала Генку, потому что ворвалась на площадку не снизу, а сверху, совсем с другой стороны. Она обнюхала кости, недоуменно повиляла хвостом, поглядела на Генку и, зевнув, пошла обратно. Стало быть, никакого зверья поблизости не было.

Страх пропал. Зато появилось другое, чего никогда еще не испытывал Генка. При виде этих белых костей он почувствовал тоску, протест и обреченность. Вроде его долго и хитро обманывали, а теперь вот открылась правда. Он глядел на голые кости, которые еще недавно были живой овечкой. Но самое ужасное — голова, которая лежала отдельно на каменной плите, наполовину ободранная, наполовину со шкурой и шерстью. Оскаленные зубы, высохшие глаза и развороченный череп... Странно и страшно. Все съедено, а голова почти уцелела. Так вот что остается после смерти! То, что было живым и красивым, стало мерзким и безобразным. Почему так и зачем?..

Бледный, с холодком в хребте, слабостью в ногах и болью в голове, вернулся Генка домой. Лешка уже проснулся и обсох. Будто и не купался в холодной воде.

Отдав ему найденные яйца, Генка полез на кровать — вроде захворал. А бабушка, увидав находку, всполошилась — а вдруг в яичках змеята?

— Брось! Брось сейчас же! — кричала она. — Ой, чемер вас подери. Все что-нибудь отчебучат...

Но Лешка и не думал бросать. Он подхватился и рванул по деревне показывать невиданные змеиные яички. Вернулся поздно и доложил, что мужики на конном дворе яички по-

смотрели и сказали: это либо ящеркины, либо ужиные, а у змей таких не бывает.

Ночью Генка бредил и вскакивал, а утром поднялся вялый и тусклый. Несколько дней он тосковал так, что бабушка решила лечить его от испуга. В кружке, поставленной в загнетку, растопила чистый воск и вылила его в ковшик с водой, который держала над Генкиной головой. Лила воск и что-то шептала, а воск застывал в виде загогулин, чудовищных птиц и зверей. И, крестясь, бабушка шептала:

— О господи! Вот он страх-от! Вот он твой испуг-от! Выходи, выходи, весь выходи...

●  
Едва выпал снег, через Стародубку пошли санные обозы. Лошади гнедые, каурые, рыжие, соловые, саврасые, мухортые, серые, чубарые, игреневые, буланы, пегие и прочие. Дуги и сани тоже самые разнообразные. Можно весь день кататься с горы на санках и смотреть, как движутся обозы. Туда, то есть в район, идут налегке. Лошади бегут рысцой, потряхиваются дуги, позванивают удила, шаркунцы, колокольчики. А возвращаются с грузом — лошади потные, ступают размеренно, ползья скрипят тяжело и тягуче. Если хорошо запомнить лошадей, можно сказать, какой обоз когда проходил за грузом. Мешки, бочки, ящики, тюки, корзины... Проедет обоз — приторно запахнет керосином, скипидаром или креолином. А то подразнит аппетит запах пряников, конфет, жмыха, подсолнечного масла. Картонные коробки, в которых везут мыло, чай, пуговицы, нитки и махорку, пахнут необыкновенно приятно.

Продолжается молотьба. В иные дни, когда особенно тихо и ясно, хорошо слышно, как за лесом гудит молотьяга-соломотряс. Она молотит, и солому трясет, отделяя зерно от соломы и мякины. Как-то везли эту машину через деревню, так за ней все ребяташки далеко за околицу бежали. Новенькая, крашенная зеленой краской, она казалась совершенным чудом. Колесики, шатуны, шестеренки, барабаны, крыльчатки, решета, зубцы всякие... И сама на больших колесах, и везли ее гусем самые сильные лошади. Никто никогда еще не видел в Стародубке такой большой и красивой машины.

Раньше маленькие Осокины видели только одну машину. Это была молотьяга-трещотка. У нее чугунный остов и сама она не выше коровы. Тогда молотьяга шла у деревни за мостом, куда с косогора свезли снопы и уложили в клады. По-



том снопы сбрасывали с кладей, разрезали вязки и подавали на стол машинисту. Машинист подхватывал снопы, растрясал на столе и совал в лоток, а потом в жерло трещотки, где со страшным грохотом выл молотильный барабан. Машина тряслась и редела, выплевывая измочаленную солому и брызгая зерном. В хвосте ее попарно стояли бабы с граблями, ловко подхватывали солому и, потряхивая да подбрасывая, катили ее, пока в ней не оставалось ни зернышка. На пути соломы вырастала гривка зерна. Как только солома накапливалась, подлетал возчик с поперечной оглоблей на длинных постромках. Он становил коня задом к соломе, перебрасывал через нее постромки с оглоблей, становился ногами на оглоблю и взмахивал вожжами. Лошадь увозила копну соломы по проторенной, гладко уезженной дороге к соломенной скирде. А там стоял мужик со стоговыми вилами и бросал солому на скирду.

Хорошо смотреть на молотьбу! Все крутилось и вертелось, все работали быстро, споро, оглушительно редела чугунная машина, которую крутили за водилины четверо лошадей.

А теперь вот работает соломотряс, и шибко хотелось посмотреть, как он молотит. Но пацанов на ток мужики не пускали: как-то у барабана отломился зуб, вылетел и чуть не убил машиниста. Потом говорили, это какой-то вредитель засунул в сноп железный курок от телеги, чтобы сломать машину. И правда, чуть не сломалась самая дорогая машина. Но Осокины надеются насмотреться на соломотряс, когда будут ходить в школу. Это по пути, и скоро уж.

А раз маленьких не пускали на ток, они играли в деревне. В тот день сначала катались с Осиновой сопки, потом Володька Жиганов сманил их на яр у старицы. На старице был гладкий лед, еще не сильно заваленный снегом, и с разгону санки летели по нему аж до другого берега и лезли вверх. С другого яра санки катились задом и натыкались на что-нибудь. Все, кто был на них, летели кубарем на лед.

Володька и тут все что-нибудь указывал да затевал по-своему.

— Эй, ребя! Давай изделаем катушку вот так!

Это чтобы кататься по ложку, который разрезал яр как раз на повороте и выходил устьем на прямую дорогу вдоль старицы. Стали ладить новую катушку. Утоптали дно ложка, рытвинки засыпали снегом, и получился длинный крутой желоб, по которому и править на санках не надо: как вылетишь на лед — так далеко-далеко катишься.

Володька санки, конечно, не возил — и так костыли скользили, хоть он и набил в их концы острых гвоздиков.

Катались на двух санках Генка, Лешка, Володька, Спирька. И раз от разу все дальше укатывались: катушка все торней становилась. И вот, когда укатились совсем далеко, лед под санками затрещал и начал проваливаться. Спирька с Лешкой успели отскочить со своими санками, а Генка с Володькой стали тонуть. Володька раскинул костыли, так что они не давали тонуть, за лед задержались, а сам ногой отталкивался и вылез на берег, вымокнув только по пояс. А Генка за ним плыл. Хорошо — под живот попала шершавая льдинка, и он за нее держался. Как вылез на берег, стало тяжело идти, одежка вся намокла.

Побежали сушиться к Володьке — прямо по старице, а не по дороге, чтоб никто не увидел. Дома у Володьки никого, кроме маленьких, не было. К вечеру высохли, и никто не узнал, что искупались, а то попало бы.

Вечерами отец теперь все заряжал патроны, чинил капканы, обшивал лыжи, готовил пилюли со стрихнином. Его колхоз опять охотником утвердил.

Так и прошла зима. Каждый день младшие Осокины катались на санках да на лыжах. Правда, насчет лыж отец не сразу согласился. Маловаты, мол, для лыж. Потом все же изладил. Вытесал их из осинки, выстругал, а потом загнул и высушил в печке. Лыжи получились легонькие, каткие. Когда Генка с Лешкой на них с горы летали, отец сам удивлялся.

Днями отец пропадал в тайге, а вечерами, после ужина, с матерью да другими бабами и мужиками в избу-читальню ходил, где мать вместе с другими училась грамоте. Дома теперь были новенькие карандаши, буквари и тетрадки. Запах от них шел сладостно-заманчивый, а картинки — как живые.

Сначала отец и мать строжились, когда Генка с Лешкой книжки таскали, и наказывали бабушке не давать их, а потом раздобрились и стали разрешать. По арифметике отец и мать аж за третий класс задачки в уме решали, а по русскому языку мать кое-как за первый класс сдала. Сказывали, когда мужики первый раз собрались, учительша в обморок упала, потому что и накурили, и водкой пахло. Курить она запретила, а пьяных да шухарных мужики сами за дверь выводили.

Генке с Лешкой хотелось посмотреть, как взрослые учатся, но маленьких туда не пускали. Да ничего, Генка скоро сам в школу будет ходить.

Зимой кормились Осокины неплохо — отец приносил из тайги то зайцев, то рябчиков да косачей. А к весне стало голодно — хлебушко подобрали и корова перестала доиться.

Как-то выдали немного зерна на трудодни, и отец собрался на мельницу смолоть муки себе и соседям. Дали ему для этого из колхоза коня, а конь-то оказался Буланкой!

Отец взял с собой и Генку с Лешкой — ведь ехать было мимо дедушкиной заимки; в эту зиму кубатурщики там прямую дорогу пробили на мельницу. Федюшка тоже сильно просился — он уж говорить начал. Но отец поиграл с ним, поколол бородой и обещал взять в следующий раз. Федюшка согласился.

Поехали. Воз не тяжелый, зерна всего три мешка набралось от десяти дворов. На заимку к дедушке приехали, когда солнце еще высоко стояло.

Как радостно забилося сердце, когда показался дедушкин дом! Если бы он даже стоял среди сотен других домов, где-нибудь на новом месте, Генка и Лешка все равно узнали бы его.

Встречать вышли дедушка, бабушка, Сережа и Пронька. Только Тимы не было — он в школе учился. А вот Сережа теперь не учился: ему надо было дедушке помогать охотиться.

Отец распряг Буланку и поставил у саней отдохнуть и подкормиться.

Пообедали свежей отварной картошкой с солеными огурцами, капустой и просяным хлебом из муки домашнего помола. В доме был тот же уют, тот же родной запах, так же знакомо глядели окна и косяки, крашеные белилами. Скамейки, табуретки, полати, пол, припечки, дверь в сени и дверь в горницу, божничка с тремя иконами — все до боли знакомое, родное...

Обычно молчаливый, отец в этот раз говорил много — стосковался, наверно. Да и дедушка все расспрашивал его. Из рассказов отца Генка с Лешкой поняли, что не только у них голодно сейчас. По всей стране недород получился. Год тяжелый. Некоторые уже с ползимы голодают. Государство помогло бы, если бы какая-нибудь одна область пострадала. А то, почитай, все подряд обесхлебали. А ведь не только крестьян кормить надо, но и рабочих в городах, и Красную Армию. Трудно будет до нового урожая терпеть...

Пронька за это время подрос, вытянулся и теперь был выше Генки ростом. И характер у него стал другой. Прежде был несмелый и не очень сообразительный, а теперь как раз наоборот. Генке даже расхотелось ехать с отцом на мельницу — с Пронькой играть потянуло. Но раз сам напросился, надо ехать. Лешка остался, а Генка поехал.

Еще засветло извершили какой-то таежный лог, поднялись на перевал и спустились в другой лог, более широкий и пологий. На подъемах шли пешком, чтоб Буланке легче было.

К вечеру в незнакомом логу Генке стало жутковато и тоскливо. Все чужое, мрачное, дикое, только дорога с зарубками, выбитыми лошадиными копытами, с обочинами, углаженными санными полозьями и отводьями, напоминала, что место это не совсем безлюдное. Отец заметил, что Генка заскучал и, хоть никогда особо не разговаривал с Генкой, как со взрослым, тут стал объяснять, где они едут и как это место называется.

— А вот и Балыкса, — сказал отец. — На этой речке и стоит наша мельница.

На мельницу приехали уже ночью. Пока Генка спал в завозне, отец все смолол и тут же собрался в обратную дорогу, потому что вода сильно прибывала и вот-вот могла размывать дорогу. Было уже светло.

Все же отец повел Генку показать мельницу. Это большой амбар у запруды, а в нем все в мучном бусе. Мельник уже отвел воду от колеса, и жернова не крутились, только слышно было, как внизу под полом бурлит и клокочет. И немного страшно было, — может, потому, что про мельницы Генка много жутких рассказов наслышался от бабушки Соломеи. Она сказывала, приехал ночью один мужик на мельницу. Народу не было. Зажег он фонарь, засыпал зерно в засыпку и стоит ждет, когда муки полный мешок насыплется. А тут сзади раздался хриплый страшный голос: «Мелко ли мелет?» Мужик подхватился — и бежать с мельницы. А сзади все тот же голос. Потом оказалось, напугал его сам мельник: он был хрипатый и подошел сзади неслышно. А мужику показалось, что это водяной. Трусоват был, да еще ночью, да один-одинешенек.

— Объясни ему, как она мелет, — попросил отец человека, насквозь пропыленного мукой, с белыми усами и бровями.

Мельник объяснял, и все было похоже на то, как мелет ручная маленькая мельница. Только здесь крутила вода —

сначала колесо с плицами, потом вал с шестерней и еще стоячий вал с шестерней и верхним жерновом на конце.

— Ну хватит. Спасибо скажи и поехали, — заторопился отец. — После еще как-нибудь съездим.

Место, которое вчера казалось Генке таким жутким в темноте, теперь, при солнышке, даже поглянулось. Видно было, как течет Балыкса в горах, по глубокому дремному логу. И сам лог, и ложки, впадающие в него, пещерно темнеют бордатым пихтачом, а склоны и сугорья утыканы свечами берез и осин. В прогалинах между ними всякий подлесок.

Речка виляла от горы к горе, подмывая то один, то другой берег. Сейчас, когда уже начали таять снега, кое-где виднелись обвальные горные яры. Отец сказал, вода в речке холодная, чистая и живут в ней холодолюбивые рыбы.

Летом журчание Балыксы слышно еще издали, а зимой она затихает, ее схватывает льдом и наглухо закрывает снегами. Под саженной толщей снеговой шубы речке становится тепло, лед подопревает, и плотно слежавшийся снег повисает над водой, как потолок туннеля. Кое-где этот потолок ломается, оседает, но пурга и бураны исправно ремонтируют его, сравнивая с береговыми суметами. Когда на солнцепеках начнут таять снега, вода в Балыксе быстро прибывает, и она почти на всех перекатах проедает себе окна и полыньи и течет тут открытая, как летом, порой окутываясь густым туманом и вздымая серебристые космы.

День разгорелся теплый и тихий. В логах висела ласковая раздумчивая дымка. Подтаявший снег, как стекло, блестел на солнечных местах, высокие тальники вдоль Балыксы празднично сияли золотистыми уже сережками. Казалось, что-то очень хорошее обещал этот день.

— Ранняя нынче весна, — повторял отец, шагая за санями, дымя трубкой и поглядывая по сторонам.

Буланко шел не торопясь и понуро. Отец то погонял его и ругался, то вздыхал и жалел. Это была уже не та лошадь, что прежде. На одном из переездов через речку дорога на берегах протаяла до земли, и тут пришлось перетаскивать мешки на себе: Буланко не мог вывезти.

Потом дорога пошла прямо по речке — по льду и снегу. Место тут, видать, тихое и глубокое, потому что нет ни кривунов, ни перекатов, а берега высокие, ровные.

Перед выездом на берег отец дал Буланке отдохнуть, чтоб легче взять подъем. И зря. Стоял, стоял Буланко — и вдруг провалился в воду. Сначала по брюхо, а потом рванулся, что-

бы выпрыгнуть на дорогу, и ухнул так, что одна голова виднелась. Тут уж отец забыл про трубку. Выхватил топор из саней, хотел обрубить гужи, но пробраться к ним было трудно, и, отбросив топор, он рванул прямо в воде супонь. Бултыхаясь в воде, рассупонил и быстро распряг Буланку. Потом сани — откуда сила взялась! — вместе с мешками назад оттянул.

Мука уже успела подмокнуть. Отец велел Генке взобраться на сани, потому что из пролома хлынула вода и быстро стала заливать дорогу. Картина невеселая, что и говорить.

— Но Буланко! Но, милый! Но!..

Буланко напрягался, старался выпрыгнуть, но это ему не удавалось. После отец говорил, что его, наверно, судорогой свело. Ноги у него не слушались, он бился шеей и головой об лед. В кровь разбился...

Отец топором вырубил лед и тянул Буланку к самому берегу, где он лежал уже на дне и половина бока виднелась из воды. Но и это не помогло. Откинул Буланко голову и захрапел. Голова в крови, а в глазах холодная темень и смертная тоска. Заржал было, потом замолк и даже головой не дергал. Еще раз поднял голову, покосился на отца и закрыл глаза белыми своими ресницами. Генка заплакал...

Отец, до этого кричавший и ругавшийся на Буланку, теперь только вздыхал, нещадно дымил трубкой да швыркал носом, как маленький. Это, наверно, от холодной воды. Прямо по воде, не снимая пимов, он перенес на другой берег Генку, потом подмоченные мешки с мукой и вывез пустые сани. Свалил на берегу пихтовый пенек, раскромсал его и разжег костер. Раздевшись догола, выжав и подсушив одежду, отец снова оделся и сказал, что надо бежать на какую-то заимку. Тут километров пять осталось, чуть в стороне от дороги.

И они побежали. Горе и страх, которого натерпелся Генка, подгоняли его, и он бежал, бежал за отцом, не отставая, хотя уж совсем дышать было нечем. Когда показалась заимка, отец сказал, что теперь Генка и шагом дойдет, а сам побежал еще быстрее. Когда Генка подходил к заимке, отец и два незнакомых мужика гнали ему навстречу сытую гнедую лошадь, запряженную в сани.

— Иди, иди! Тебя там встретят! — крикнул с саней отец и промчался мимо.

Генку встретили две большие серые собаки с круто загнутыми хвостами и двое ребят повзрослее Генки. Встретили лас-

ково, вроде даже удивились, что у Ивана Осокина такой большой сын. А Генка, едва зайдя в избу и усевшись на лавке у печи, заснул. Потом его уложили на кровать, и он проспал до вечера.

После сна ему показалось, что все случившееся было уже давно. Но отец и мужики говорили о сегодняшнем.

Сегодня утонул Буланко — не утонул, а выдохся, окоченел и не справился. Сегодня отец подмочил муку и не только свою, но и соседскую, — а как ее возвращать? Сегодня прирезали Буланку. Его вытащили на берег, но было уже поздно. Мясо оказалось постное, и дадут за него мало. Купят татары, они любят конину. Раньше всегда, бывало, ездили по деревням и спрашивали, нет ли «сугум», то есть негодных для работы лошадей. Сегодня у Ивана Осокина большое горе...

Назавтра утром, еще по приморозку, отец с Генкой и замским парнем-подростком отправились на чужой лошади в Стародубку: парень потом должен был пригнать коня обратно. Сытая лошадь легко везла подмоченную муку и все, что осталось от Буланки, — шкуру и мясо. Сами же они шли вслед за санями.

Генке хотелось поскорей домой добраться, — может, там станет легче...

●  
Позже Генка понял, что горе на самом деле было еще больше. Надо было вернуть колхозу коня. Пришлось продать замскую избу, корову, спальный потник с буквами, которые Лешка прочитал, всех пчел и сторговать у мужика Широкова карюю кобылу с жеребенком. И еще Широков задешево продал избу. В дяди-Яшиной избе должна была поселиться тетка Дора, потому что в жигановском доме стало тесно: Вася-маленький женился. Переселяться Осокины будут, когда Широков уедет из Стародубки. А до лета будут жить пока на прежнем месте.

Сошли снега, прошумели и замолкли речки. Открылась летняя охота, отец опять пропадал в тайге, а возвращаясь, приносил в торбе калбу, медунок и прочую съедобную траву, в которой нехватки не было.

Недавно он сменял Найду на Полкана. Это был крупный рыжий кобелина и охотник хороший — чуял далеко, а лапы такие сильные, что в любом месте раскапывал хомячьи норы. А хомяк чем хорош — и шкурку можно продать,

и мяса порядочно, и в норе пригоршня-другая зерна найдет-ся. Правда, не у всех хомяков зерно съедобное, а только у тех, что живут на обочинах пашен. Тут их и промышляли младшие Осокины с помощью Полкана.

Один раз Полкан трех хомяков выкопал. У Генки с Лешкой лопатка была — помогали ему. Конечно, Полкан и сам с удовольствием съел бы хомяков, да не такой он шалава, как другие собаки. Задавит — и отдаст хозяевам, даже хвостом помашет. Тут его надо погладить и ласковые похвальные слова сказать. Был бы хлеб, — можно бы кусочек дать. Да ладно уж, себе-то он чего-нибудь найдет. Не зима сейчас.

Как-то утром Генка с Лешкой собрались на Осиновую сопку, где они еще не искали хомячиные норы. Но мать сказала, что все сегодня пойдут помогать отцу.

Взяли с собой зачем-то мешки, брезентовую подстилку, ведра и сито. Отец повел их на Бом — так называлась большая лысая гора, где маленькие Осокины тоже еще не были. На склоне Бома и наверху была хорошая тропа, и отец успел поставить на ней кротовьи кулемки. Потом начались пашни.

Шли, шли и остановились на косогоре, перед логом, где было просянище.

— Вон там, — указал отец чубуком трубки.

— Угу, — сказала мать.

— Ну давайте шпарьте, а я по кулемкам пойду. — И отец ушел.

Еще дорогой Генка с Лешкой догадались, что дело не только в охоте. А как спустились в лог, на тумно, где молотили просо, так все стало ясно.

Просо тут молотили зимой, снопы были мокрые, обледенелые и вымолотились плохо. Теперь надо их трясти и подбрасывать, чтобы добыть зерно. Но главное зерно — в мякинных ворохах, лежавших по бокам гумна. Мякину тоже надо мять, ворошить, разгребать, трясти, а что погуще — складывать в ведра и отмывать на ручье водой. Мякина всплывала, а просо оставалось на дне.

И пошла у матери работа. Неустанно таскала она ведрами и мешками сырую, слежавшуюся мякину к ручью, отмывала просо и рассыпала его на брезенте. Она торопилась и побаивалась, как бы народ сюда не нахлынул и не растащил все это добро. Вода в ручье еще холодная, руки у матери покраснели, но самой ей было жарко.

И вот просом уж весь брезент засыпан. Мать нахвалиться не может — зерно красное, крупное, «Камчатка» называется.



Генку с Лешкой она отпустила с Полканом хомяков промылять.

Красота! Лес уже соком налился и подернулся листвой. Кукушки будто в колокола бьют — гулко в лесу. Пчелы гудят, как на струнах играют, птахи пересвистываются. В низине на лужках озерушки поблескивают и летают утки. И теплынь такая, что от земли, как от печки, светлые волны идут. На обочинах пашен шуршит старая сухая трава, а сквозь нее пронзились зеленые стрелки. И съедобной травы много — рви калбу, медунки, русьянки, шкерды, петушки, пестики.

Но все это попутно. Главное — охота. Двух хомяков добыли, и отец потом похвалил: «Ишь, песовы морды, прямо, как охотники!» И Жигановы удивились. Дед ихний и так упрекал Спирьку — мол, вон Осокины муранок всю ловят, а вы только и знаете бегать да жрать просить. У деда все по-своему, и хомяков по-своему называет — муранки...

Назавтра день был сытный и радостный: ели картошку с хомячиным мясом. Потом отец съездил куда-то и просо на пшено обрушил. Совсем хорошо стало — можно кашу варить.

Не одни Осокины в то лето молотили подмокшее просо — хлеба почти ни у кого не стало. И начали люди болеть, многих в больницу отвезли. Поползли всякие слухи, что, мол, вредители — враги Советской власти — нарочно отравили просо. И мать отцу про то говорила. А он сердился:

— Брехня! Никто не травил. Вчерась с агрономом говорил, из райзо, так он что объяснил: если зерно под снегом перезимует, то в нем яд появляется. Да еще мыши могут заразить его. От всего этого и помереть недолго. А дурачье всякое болтает...

Но, видно, и отец сомневался. Генка слышал, как он с Васей-большим, с председателем, разговаривал, что есть у Советской власти враги. Может, и правда, вредят, где только удастся, чтоб народ взбаламутить. Вот, мол, какая она — ваша власть: с голоду пухнете и никто спасти не может.

А потом отец взял мешок с намолоченным пшеном, отнес на старицу и высыпал прямо в воду. Вернулся, швырнул пустой мешок в угол и другой, начатый, унес на старицу.

Никогда Генка с Лешкой не указывали отцу и не возражали. А тут не вытерпели, думали, рехнулся.

— Отец! — закричали они в голос. — Зачем ты?! С голоду помрем!

— Надо, мужики. Так надо, — сказал он. — Потом пойте. Не плачьте...

Потом уж мать объяснила, почему пшено в воду высыпали. Через несколько дней после того как стали есть просо, она почувствовала себя очень плохо. У нее чуть не отнялись ноги, ломило поясницу, кружилась голова и тошнота донимала, сильно болело внутри. Но она боялась, что отвезут в больницу, и там она умрет. Поэтому делала вид, что здоровая, и никто ее недуга не заметил. Но отцу все же призналась, вот он и высыпал все добро в старицу.

И только гораздо позже поймут маленькие Осокины, что было это очень тяжелое, голодное время — тридцать третий и тридцать четвертый годы.



Широковы наконец съехали, и Осокиным пора была перебираться в новую избу. Катерина побелила стены, протерла окна, помыла пол.

Стояла изба на другой стороне Илицы, против жигановского кривуна, высоко на косогоре. Место солнечное. Выше избы над яром шла улица с проезжей дорогой. Яр полумесяцем вдавался в косогор, а концами упирался в луговые берега Илицы. Один его конец, полого снижаясь, тянулся мимо избы, и возле него лепилось прясло. От яра в сторону жигановского кривуна лежал обширный пологий уклон, спускавшийся, опять же, к речке. Тут прежде были широковские пригоны, а теперь отец обнес их высоким пряслом, и получился хороший огород.

Лешка и Генка посмотрели новое жилье и пошли на остров в лапту играть. Они уже многих стародубских ребят знали. И Колаха Казанцев, самый сильный, тут же был.

Долго играли, даже Володька-хромой играл. Хорошо он на костылях бегаёт. Потом купались и боролись на песке. Колаха всех поборол и Генка — всех. Володька стал их между собой сталкивать, но они бороться не стали. Надо чтоб и в том, и в другом краю деревни свой силач был, а уж меж собой они будут бороться в самом крайнем случае.

Назавтра переселились в новую избу, и с этого дня Генке с Лешкой далеко убегать уже не разрешалось. Бабушка Соломея уехала в свою деревню, с другими внучатами возиться, а тут как раз огород поспел, и надо было беречь его от всякой нахальной живности.

Сидят, домовничают братцы Осокины, а куры так и прут

в огород — и свои, и соседские. Самый вредный петух — рябой, не очень нарядный, зато с большим кустистым гребнем — не то что в любую дыру проломится и кур со всей деревни накличет, так еще на хозяев кидается. Без прута к нему не подходи. Хорошо, что Генка с Лешкой проучили его, когда отец ястреба подстрелил, который цыплят таскал. Взяли они этого ястреба, распялили на палках, связанных крест-накрест, подвесили к концу толстого удилица и давай за петухом носиться. Тут уж он рвал когти, аж пух летел, и орал на всю Стародубку. И кур этим ястребом пугали вполне успешно, пока он не протух и его не бросили под яр.

Самое нудное и обидное дело сидеть как привязанному у избы и видеть, как твои товарищи вольными птицами носятся по острову, купаются, орут и во всякие игры играют... А все огород, будь он проклят! Боже упаси кур проворонить — грядки раскопают, поклюют все. У других старики огороды стерегут, а у Осокиных Генка с Лешкой, да еще Федюшка. Про всякую отлучку из дому отец с матерью обязательно узнают. Мать-то просто поругается, а отец может и ремня влить. У него не заржавеет.

А откуда отец с матерью про все их дела дознаются, Генке с Лешкой очень даже понятно. С одной стороны, соседка докладывает — тетка Саша. Ее дом за огородом, на полдень смотреть. С другой — девчонки Ложковы, что саженьях в сорока под яром живут. У тетки Саши муж коров пасет, а сама она не работает — больная, и целый день дома сидит, все видит у Осокиных. А Шурка и Мотька Ложковы так и снуют челноком мимо осокинской избы. Ходят они к тетке Саше — чем-нибудь подкормиться. Своих детей у нее нет, а маленьких, особенно девчонок, она любит. И живет в достатке. Попутно девчонки высматривают, что ребята Осокины делают, и докладывают потом:

— Дядя Ваня! Ваши ребятишки опять на речке долго купались, а в огороде куры пластались.

— Тетя Катя! А ваши ребятишки полон дом всякой шантрапы назвали и всех арбузами да дынями угощали. Весь огород очистили!

А что делать? Одним-то скучно. Вот и приманивали ребятишек, чтобы хоть дома поиграть с ними. В огороде всего полно, пусть едят. Федюшка и то целыми днями огурцы ест.

Часто ребята Осокины стоят у крыльца, выжидают, когда кто-нибудь появится, и кричат:

— Эй, вы-ы! Идите к на-ам!

— Не-е, — отвечают ребяташки, — чо у вас делать-то? Идите вы с нами играть.

Конечно, хорошо бы поиграть и в кляп, и в клок, и в лапту, и просто побегать, побороться, полазять по деревьям. Да разве же дом бросишь?

— Эй! А у нас арбузы поспели! Во-от такие-е!

— И дыни тоже поспели!

Ну, это другое дело. Идут всем гамузом — и большие, и маленькие.

— Здорово живете!

— Здорово! Милости просим! Заходите в избу.

Один ведет гостей в избу и рассаживает за столом, а другой бежит в огород за арбузом, дыней, брюквой, репой, морковью. Будет мало — еще сбегает.

Смотришь — весь стол покрывается огрызками, очистками, семечками, дынной требухой. Мухи, пчелы, осы, шершни налетают на сладкое, жужжат вокруг стола. Приберут со стола и свалят остаток в свиное корыто. У Осокиных два подсвинка. Один от простой, местной свиньи — прожорливый, нахальный и гладкий, а другой от породистой матки, вислоухий и добродушный. Первый вечно его обижает.

За всякую огородину отец с матерью не ругаются. А что Ложковы... Так отец страсть не любит, когда маленькие друг на дружку жалуются.

Пройдет мимо девчонок Ложковых, только трубкой проклятое племя! Со свиньями и то легче. У тех на шеях вилки дымит и слова не скажет. Так им и надо! Но зато если куры в огороде были, — тут грозы не миновать. Ох, куры — пронадепы — хомут такой деревянный, вроде ножниц, с колодкой внизу. Так что они и в большую дыру не пролезут. А куры — просто наказание! Обязательно им в огород надо.

А раз соседская телка залезла. Побежали выгонять, а она на них с рогами кидается. И камнями, и палками кидали в нее — все бесполезно, что хотела, то и делала в огороде. Картошку носом копала, как свинья. Что делать?

— Лешка, давай поищем, где у отца патроны спрятаны. — Ружье-то вон висит. Зарядим да как вжарим ей!

— Ну да... А потом отец нам с тобой так вжарит, что не захошь больше.

Вжарит, это верно. От Ложковых не утаишь, да и Федюшка сам похващается.

— Ну тогда давай вилами напугаем.

На это Лешка согласился. Пошли в пригон за вилами. Они

тяжелые, толстые, в руках не держатся. Тогда из тына вынули две острые и длинные орясины и наперевес, как с винтовками, пошли на телку. Та покосилась, запыхтела и бросилась почему-то на Лешку. Но Лешка молодец — трахнул ее по морде, так что пыль пошла. И стал хлестать по глазам, слева да справа. Тут и Генка поднажал. Телка бьякнула, отпрянула в сторону, а потом перемахнула через прясло в соседкин огород. А тетки Саши дома как раз не было. Генка хотел было и оттуда выгнать телку, но Лешка опять характер показал:

— Пусть в своем огороде привыкает жрать и не лезет больше к нам.

— Дак там же огород!

— Ну и пусть. А то тетка Саша все жалуется на нас, что плохо свой огород караулим. Пусть свой покараулит.

И откуда что берется у Лешки? На год младше Генки, а ни в чем не уступит. Это давно уж так повелось, еще с заимки.

У Генки привычка: как задумается — сощурится, нос сморщит и рот приоткроет. А Лешка тут как тут:

— Ну чо ощерился? Привыкнешь — и будешь такой ощеренный...

Это он у отца, конечно, научился. Тот тоже всякий раз выговаривает Генке, если он размечтается и щерится, как младенец.

Вот и сейчас Лешка шибко обидно сказал:

— Ты чо оскалился?.. Прямо как жеребчик. Морду поднял и ощерился...

Генка на него чуть с кулаками не кинулся. Но потом-то старался не морщиться, когда задумается. А то увидят другие ребята — сразу прозвище прилепят. И так недавно только дразнить перестали:

Меня сватал конопатый,  
А рябой — наперебой...

Девчонки Ложковы — дуры, даже дразниться не умеют как следует: «Гена-мигена!» «Леша-калоша!» Самые маленькие сопляки ребята, и то лучше бы придумали.

Вот Ложковы опять из-под яра по тропинке поднимаются. У Шурки волосы потемней, а у Мотьки, как лен, белые. Помыты, причесаны — это их бабка угоила и в таком ангельском виде к тетке Саше отправила, чтобы та залюбовалась ими и пошибче накормила. Если бы не дразнились да не

ябедничали, так хорошие бы девчонки были. Иной раз и поиграть с ними хочется. Вот идут, как два овсяных снопика. Мимо осокинского крыльца проходят, затаив дыхание, даже видно, как сердчишки у них колотятся. А только отойдут подалее, куда вся робость девалась!

— Гена-мигена-а! Бя-я-я!.. Леша-калоша-а! Шепелявый!..

А сами скорей улепетывать.

У Осокиных громко орать не принято. И дразниться не принято — глупо это, стыдно даже. Потому они помалкивают, когда Шурка с Мотькой гнут. Но ладно, шельмы! Вот назад пойдете, мы вам...

Назад Шурка с Мотькой идут сытые, довольные — как пчелки с большого взятка. Генка с Лешкой вроде и ухом не ведут. Но вот девчонки поровнялись с крыльцом.

— А ну стойте! — Лешка как всегда первый. — Будете иш-шо дразниться? Говорите!

Нет, не могут обещать девчонки не дразниться. Не могут. По лицу видно. Только назад пятятся.

— Ну раз так, то вот вам, вот!

В руках у Генки с Лешкой хлыстики из тальниковых прутиков. Вот вам, вот по этому самому месту!..

Девчонки возле Осокинской избы не режут, не жалуются, а как отойдут — ревака дадут, только держись.

— Ба-аба-а-а! Ба-аба-аеэ-эв! Генка с Лешкой дерутся-а!.. Бабэ-э-эв!..

А бабка у них — старуха сухая, жилистая, долговязая и горластая. Вылетает из своей избы со сковородником.

— У-у-у, змеята подколодна-и. Убью, пришибу, окаянных!.. Уродами изделаю!..

Но Генке с Лешкой — хоть бы что. Стоят на яру и посмеиваются. Как же! Так и поверили, что бабка Ложшиха догонит! Вот добежит до крутяка и вся выдохнется. Покричит еще и, погрозив сковородником, вернется в избу.

И так почти каждый день. Вечером, когда отец или мать пойдут домой, девчонки Ложковы опять начнут гнустить и жаловаться. И обязательно, чтоб Генка с Лешкой их слышали. Потом они долго еще будут тянуть шеи и прислушиваться, когда наконец Генку с Лешкой начнут лупить и они заревут. Напрасно ждут. Если бы отец и всыпал, они звука не подали бы. Но отец никогда не вступает в дела маленьких. Сами поссорились — сами миритесь. Только однажды спросил:

— А ну, сказывайте, как это вы тут на штанах с яра катались?

Генка с Лешкой давно уж приучены не запираяться, если натворят чего. Да Федюшка и так все выложит. Мелюзга — и потому все его балуют. Отец как придет с работы — первым делом к Федюшке играть. А тот и рад.

— Отец! А мы... ета... мы водой дорожку поливали и катались! Ух, здорово шибко!

— Ну так как вы катались-то?

Да как... Взяли ведро с водой и всю дорожку, которая под яр спускается, облили, чтобы девчонки Ложковы не смогли подниматься тут. По траве-то ходить — они змей боятся, обязательно по дорожке им надо. А дорожка глинистая. Попробовали — шибко склизко, на ногах не устоишь. И Лешка догадался прямо сидья кататься. Сядешь, ноги вытянешь — и пошел... Ух, здорово!

— То-то я иду и чувствую: под ногами склизко, — говорит отец. — Неужто дождь прошел, думаю. Так нет, дождя и близко не было. А ну-ко покажите штаны.

Генка с Лешкой повернулись задом. Штаны они, конечно, успели помыть, поливая друг друга из ковшика, но разве это мытье — размазали только.

— Ишь, залощили как! — Отец того и другого шлепнул ладошкой по штанам. — Чтоб не было этого больше! Выпорю, и без штанов дома сидеть будете. Ишь чего удумали, дубины этакие. Большие, а все как маленькие...

Если отец ругается, значит, пронесло: ремня не вольет. Когда он считает, что слова тут лишние, сразу за ремень берет.

— А ну идите сюда!

Попробуй не подойди. В сто раз хуже будет. Генка как-то пробовал убежать, так тройне получил. Одного кого-то отец не наказывает, Лешка провинился — обоих накажет. И Генка провинился — оба отвечайте. Да подумайте наперед. Порой они укоряют друг дружку: из-за тебя, мол, попало. А что поделаешь, раз у отца такой закон. Но Ложковы-девчонки, зануды, не дождутся, чтоб ребята Осокины плакали.

Правда, за то, что в сухую жаркую погоду рыбу жарили у самого крылечка, отец так отвалил, что нельзя было не заплакать.

Скликнули они ребятшек к себе — Володьку-хромого и других, кто поближе бегал. Двоих оставили огород караулить, а остальные с бредешком побежали на речку. Страсть как хотелось порыбачить, давно не рыбачили. И ловко получилось — пескарей, чебаков, окунишек, ершей наловили. Еще

бы, может, половили, да уж некогда было, отца побоялись: вдруг придет, а их дома нету. Но и то на большую сковороду наловили. Пока рыбачили, Володька-хромой возле тына тетки Саши дикое куриное гнездо нашел. Полный подол яиц принес.

— Свеженькие!

— Почем знаешь, что свеженькие?

Володька гмыкнул и вытер желтые губы. Ясно, что одно яйцо успел выпить. Генка с Лешкой так бы не сделали, всех бы дождались. У Осокиных все поровну.

Сначала хотели яйца на загнетке испечь, а потом решили на сковороде вместе с рыбой изжарить. Поставили таганок прямо у крыльца, насовали щепок, зажгли. Горят щепки, шипит сковорода, дух аппетитный на всю Стародубку идет. Потом обедали прямо на полянке. Всем хватило. Никто никогда еще так не угощал своих гостей!

Но место, где огонь горел, осталось. Зола, угольки, а кругом во дворе полно щепок да соломенной трухи, — мог бы пожар случиться. За это отец и всыпал. Думать надо, что делаешь.

Когда пришла пора сенокосу и жатве, отец оставил охоту. Сходил в чернь и все свои ловушки на холостой ход поставил. Теперь они с матерью работали в поле и много всяких наказов давали Генке с Лешкой. Огурцы поспевают — их надо собирать да в угол в сенях сваливать. Не собери вовремя — пожелтеют, семенниками сделаются. Бобы и горох поспели — надо их вырвать да на тын сушить развесить. Табаки отцовские в лист вышли. Верхушки у них еще раньше Генка с Лешкой сощипнули, а теперь надо листья обламывать и укладывать стопами прямо тут же, в огороде. Это чтобы они заморились и крепче стали. Потом лист переноси в сени и шнуруй на длинный, в несколько суровых ниток, шнур. Такие шнуровки получаются, что Генка с Лешкой вдвоем еле поднимают. Шнуровки полегче они сами подвешивают на чердаке, а тяжелые — отец. Табак шнурить тоже надо умеючи. Каждый сорт по отдельности. И чтобы лист одинаковый был. А табаков у отца три сорта. Морока!

Чтобы дело ускорить и выкроить время для игр, Генка с Лешкой опять сзывают к себе ребят. Те помогают по силе-возможности. Кто шнуры вьет, кто лист из огорода таскает, кто сортирует, кто накалывает корешки листьев хомутной иглой да на шнур нанизывает. Надышишься табаку — голова разболится. И как это отец бесперечь этот табак курит?



Кончился табак — отец привез из лесу длинные толстые пихтовые жердины и велел всю кору с них содрать. Ошкуривали орясины, теперь бы самое время на речке с бредешком рыбачить, но отец опять задание дает: все столбы в пригоне и жерди на прясле тоже ошкурить, чтоб просохли, чтоб червяк под корой не плодился и дерево не точил...

Младшие Осокины давно уж догадываются, что отец еще нарочно что-нибудь придумывает, чтобы не бегать им зря по Стародубке. Бывало, пожалуются ему Генка с Лешкой, мол, другие ребяташки отдыхают, играют по-всякому, а они вот все работают что-нибудь. А отец запыхтит трубкой и заругается:

— Вам бы все лоботрясничать, как те вертоголовые! Вон какие дубины, ни черта не делают и делать не умеют. И вы такими же неумехами вырасти хотите?

Конечно, неумехами вырасти неохота... И все же изловчатся Генка с Лешкой, поиграют маленько.

...Весь этот день отец какой-то злой. В полдень примчался в Стародубку на лошади, перекусил наспех, надавал заданий и в луга поскакал.

Оказалось, кони из табуна убежали и вот-вот в потраву попасть могли. Лошадей он нашел, вернул и пригнал в деревню, а они — под яр да на остров. Остров чистый, все видно. Кони вскачь кружак по острову, а отец за ними. Никогда еще не видели Генка с Лешкой, как здорово отец на коне гоняет. Пешком он ходит не торопясь, вперевалку, по-медвежьи. А на лошади совсем другой человек — лихой, быстрый и ловкий. Скачет, вьется вьюном и плеткой орудует. Согнал лошадей с острова, они с шумом и хлюпом промчались через протоку, громко простучали копытами по мосту, и отец за ними. За мостом кони повернули в луга.

Пока отец кружил по острову, стародубские ребята глядели с яра, где шла верхняя улица, и вот теперь все привалили к Осокиным высказать удивление. Какой, оказывается, лихой наездник Иван-то Осокин!

— Дак он же в кавалерии служил с моим папкой вместе, — пояснил Володька Жиганов. — Папка все вспоминает, как служили, как белых китайцев громили.

Это, конечно, Генке с Лешкой приятно слышать. Но еще бы лучше, если бы отец подольше в деревне не показывался — можно порыбачить. Стали смотреть за мост, не покажется ли отец. Нету... Взяли бредешок и побежали вдоль огорода на речку. Раз завели, два завели. Пескари, чебаки

поймались. А вот и щука! Да большая, в руках не удержишь.

— Лен, ломайте лен! — заорал Володька.

Начали лен ломать, а она брык — и вырвалась. Лешка верхом сел на нее, но она из-под него, как пуля, выскользнула. Тьфу ты, пропасть!..

Не успели опомниться, как на берегу показался отец. Вот не повезло!

— А ну, идите сюда!

И вздул тут же при всех...

Ох и лют был отец в тот день! И вечером злой был. Из его разговоров с матерью Генка с Лешкой знают, что охотничать его не отпускают, а сделали конюхом, поскольку в кавалерии служил. А конюшить ему не глянется.

Так-то оно так, но неужто за это зло на маленьких срывать? Нет, уж тут Генка с Лешкой отца не одобряют.

●  
К зиме отец все же заключил договор с «Сибпушнинной», накупил охотничьего припасу и повеселел. В этот сезон он поймал две рыжих лисы да одну черно-серебристую. Вот было радости! А белки, колонки, хорьки да горностаи — это уж само собой.

Младшим Осокиным сшили одинаковые сатинетовые рубашки, черные шаровары, скатали новые пимы и выстежили теплые курточки из зеленого гимнастерочного материала.

Хорошая была зима. На лыжах они наострились так кататься, что другим ребятишкам далеко до них. А все потому, что друг от друга отставать не хотелось. Лешка напропалую лезет с любого обрыва.

Конечно, с отцом еще не сравнялись. Он с жигановской горы вон какую лыжницу проложил! С вершины и по самому крутому месту, а внизу яма и вороха снегу. Это он упал — ночью катился да в буран еще. Случается и Генке с Лешкой падать, но не так уж часто. И падать тоже надо умеючи, чтоб не ушибиться и не сломать лыжи. А то вон у Ваньки Ащеулова и Спирьки Жиганова что получилось? Ванька упал, а Спирька следом прет. Свернуть не смог, поддел лыжей Ваньку и кожу на брюхе распластал. Потом бабки зашивали ее суровыми нитками да алебастром засыпали.

Мать зимой работала на лесозаготовках. Потом ходила на колхозный двор семена веять и мешки чинить. А вечерами у Генки и Лешки с матерью всякие разговоры шли допоздна. Мать прядет и разговаривает, а они сидят на кровати и рас-

спрашивают. Она не то что отец — разговорчивая. Жалко, что отец не любит рассказывать. У него же каждый день что-нибудь интересное бывает. Волк отравленную приманку съел и пошел помирать, а тут буран — и следы замело. Лиса ногу отгрызла и на трех лапах из капкана ушла. Теперь и след у нее особый. Заяц попался, а филин ему голову отклевал. Да мало ли всякого! И только уж когда отец с матерью разговаривают, Генка с Лешкой узнают кое-что от отца, да еще когда Федюшка его спрашивает, да когда какой-нибудь гость зайдет. С гостями отец приветлив и разговорчив. Говорит чаще про то, что в газетах пишут. Вот где-то в страшном Ледовитом океане застрял во льдах большой советский пароход-ледокол. Буран и стужа там страшные, но люди держались. Потом их всех летчики-герои спасли.

...Опять пришла весна. Генка с Лешкой считали, сколько они уж весен помнят. Вспомнили две весны на заимке. И вот вторая весна в Стародубке. А всего Генка прожил семь весен, а Лешка шесть. Скоро в школу пойдут. Отец говорит — осенью.

Осели и раскисли снега, там и тут проглянули проталины, зашумели ручьи и речки. Илица взбухла, надулась, и хорошо видно, как она виляет по заснеженным еще лугам, как течет, играя тальником и покачивая его. Лед на Илице тонкий — глубокий снег не давал ему замерзнуть, и ледохода почти не было. Просто вода проела лед и снег растопила. И теперь по Илице все шел молевой лес, да еще несколько плотов проплыло. Говорят, Илица мала для плотов. Где-то в каких-то «щеках» плоты застряли, и пришлось их разрубать да бревнами сплавлять.

Еще зимой мать связала хорошую наметку-сачок, отец насадил ее на длинный шест с поперечиной на конце, — как у больших граблей, только без зубьев. Теперь каждый день, едва смеркалось, они спешили на речку «сачковать». Особо хорошо ловилась рыба в залитых рытвинах и уловцах, где не было течения. Одна такая рытвина сразу за осокинским огородом. Тут стекала вода из согры. Летом через рытвину почти посуху переходили коровы на пастбище, и берега в этом месте истоптаны. Ловились тут чебаки, ерши, окуни, сарожки, даже небольшие щуки. Так что Осокины частенько ели пироги с рыбой.

Пришла полевая и огородная страда, которая не очень-то обрадовала Генку с Лешкой, потому что теперь они еще больше были в ответе за огород и все домашнее хозяйство.

Всю весну, как раз в самое половодье, мать с другими колхозниками ходила раскорчевывать новые пашни. Много будет пашни в колхозе — больше станет и хлеба. Приезжали землемер с агрономом и все распланировали, как чему быть на колхозной земле. Одно плохо: пашни здешние все больше на косогорах и размерами невелики. Потому и трактор МТС не дает. Пашут на лошадях.

Недавно колхоз из «Горного стрелка» переименовали в «Горного пахаря». Наметили еще и еще корчевать новые земли. Мать довольна:

— Много землицы — это хорошо. Богаче жить будем.

А отец не соглашался:

— Голову бы оторвать тем, кто в здешних местах большое хлебопашество затеял! В степи вон чистой да плодородной земли сколько пустует, а тут приходится лес ворочать...

Он говорит, что на здешних землях надо бы растить только овес да картошку. Настоящий, большой хлеб здесь никогда не родился, и мужики испокон времен привозили сюда пшеницу из степи в обмен на лес и всякие деревянные поделки, на пихтовое масло, деготь, известь и все другое, что дает тайга. Наверно, был прав он, а не мать, потому что в сравнении со степными колхозами «Горный пахарь» давал хлеба до смешного мало, и трудодень был почти пустым. Только и спасало, что охота да огород. А вот в степи живут куда лучше насчет хлеба. Там и надо с хлебопашеством расширяться.

Иван говорил это не только дома, но и на собраниях и с председателем ругался — требовал, чтоб доказали его правоту районному начальству. Может, поэтому его в колхозе многие не очень жалуют.

Зато мать стала ударницей еще на лесозаготовках. Она с Анной Логачевой на пару работала. Обе проворные и удалые. По две нормы давали. Зимними утрами чуть свет она успевала печь протопить, еды наготовить на все семейство и на работу вовремя явиться. Одевалась по-мужски — шапка, фуфайка, брезентовые чембары поверх пимов. Вечерами приезжала из лесу вся в инее, фуфайка и чембары гремели, как железные. Но она говорила, что мороз им с Анной нипочем. На работе жарко даже, голоручь работают, а пихты валят такие, что вдвоем не обхватишь. И пила у них ударная, длинная-длинная. Спилить-свалить дерево для них нисколько не трудно. Труднее потом в снегу барахтаться, когда сучья обрубаешь да раскряжевку делаешь, бревна выворачиваешь да на сани их грузишь. Снег-то выше груди. А так бы ничего.

На корчевке мать тоже все с Анной работала. И тут они оказались первые ударницы. Премию им дали — по отрезу маркизета на платья.

А теперь вот обе, как сговорились, хворать взялись. В больницу ездили, и у обоих одну болезнь нашли — заболевание легких, от простуды.

Бабы заходят проведать, сочувствуют и рассказывают, кто как болел и чем вылечился. И от такой болезни вылечивались. Советуют есть барсучье сало, пить отвары из подорожника и черемухового цвета и еще всякое.

Отец с тех пор, как мать захворала, еще пуще ругается. Он стоит за то, чтоб в Стародубке была промысловая артель. Деготь гнать, пихтовое масло, известь выжигать, сани да телеги делать, строевой лес заготовливать, пушнину добывать. Это все доходнее по здешним местам, чем сеять хлеб. Но не все с ним согласны. Говорят, мол, ты на свой нос тянешь. Как на своей заимке хозяйствовал, так и в колхозе хочешь. А времена теперь другие, другие планы. Хлеб нужен. С матерью они об этом всегда разговоры ведут.

— Так тебя и послушают... — говорит Катерина.

— А кого же слушать, если не нашего брата — мужика? — кричит Иван.

А на кого кричит? Будто Катерина виновата.

— Ты дружку своему, Васе-большому говори про это. Чо ты на меня-то орешь?

— Говорил и дружку. — Отец извинительно утихает. — Он-то со мной теперь согласный, да в районе нас, наверно, за дурачков считают.

Как-то зашел к Осокиным сам председатель, Вася-большой, — проведать Катерину.

— Какая работница! Большое тебе спасибо, Катя! Выздоровливай скорей, поможем тебе по силе-возможности. Коня дадим, в больницу еще съездишь.

Выпили они с отцом, покурили, поговорили о том да о сем.

— Ну что, Вася, — так и будем хреновиной заниматься? — спросил отец.

— Бумагу я написал, Ваня, в райисполком. Жду ответа. Прошу степной земли нам прирезать. А то не видать нам хлеба, это ты верно говоришь.

— Целику?

— Нет, пашни. Пусть соседний колхоз поделится. Они же не справляются. Сам знаешь — всю зиму молотили.

Отец поглядел в пол, нахмурился.

— Потому и с хлебом, что всю зиму молотили. А мы...

— Там трактором пахать будем.

Помолчал отец, подумал.

— Трактором — это дело другое. А то... «Горный пахарь» называемся. Как раз тут напашешь... Себе для прокорму да коням для овса можно, конечно. А государству, как то сейчас требуется, — где тут возьмешь? И лес корчевать, промежду прочим, не наша сила нужна. А мы вон на бабах ездим. Равноправие...

Вася вздохнул.

— Думаю, нынче уже там сеять будем. А по корчевке план и так не вытянем, поздно уже корчевать...

Он встал и стал прощаться. Длинный, худой. Раньше Генка с Лешкой видели его круглым и румяным. Теперь широко сдал Вася. Замотался.

— Сам-то здоров ли? — спросил отец.

— Гм... Председатель всегда должен быть здоров.

— Должен-то оно, должен... Вон какой был!

Отец кивнул на стенку, где среди прочих карточек была и их с Васей. Два конника рядышком. Ремни, сабли, кобуры. Полушубки белые, новенькие, шлемы с красными звездами, галифе, сапоги со шпорами. Бравые ребята!

— Ты тоже, Ванюха, сдал, понимаешь. И характер, вроде не тот стал. Спокойней надо. Докажем.

С того вечера жизнь веселее пошла. Ничего такого Вася-председатель вроде не сделал, а отец с матерью будто оттаяли. И мать понемногу стала поправляться и даже смогла пойти на колхозное собрание, когда пришло постановление райисполкома.

«Горному пахарю» дали порядочный надел степной черноземной земли. На ней хлебушко хорошо родит — нынче должны быть с хлебом.

Володька Жиганов уже ездил со своим отцом смотреть те земли. Три версты отсюда, за Стародубской горой. Там другой колхоз стоит, «Дружба» называется, потому что в том одном селе дружно живут и татары и русские. Село по-татарски называется — Калташ. Для младших Осокиных это родное название — родились-то на Калташке. Там, в Калташе, есть школа, куда многие стародубские ребята ходят учиться. К примеру, Мишка Ложков — он дядей девчонкам Ложковым приходится, Зинка Жиганова — сестра Володькина, Тайка Казанцева и брат ее Петька. Там же, в Калташе,

и Сережа с Тимой учатся. А скоро и младшие — Генка, Лешка, Володька, Спирька, Мишка Логачев, Колаха Казанцев, Васька Макаров и другие пойдут туда учиться. Может, пешком ходить будут. Вон Володька на костылях — и то в Калташ ходил.

Мать рада, что степной земли прирезали. Степь она любит — родилась ведь в степном селе. Любит рассказывать, что там земля-то, матушка, на аршин черная вглубь, жирная, как масло. Когда хлеб вырастет да колоситься начнет — аж сизо кругом, как море колышется. Теперь и там, где «Горному пахарю» земли нарезали, такой же хлеб вырастет, и в школу ходить как раз мимо этих полей. Молодец Вася-председатель, выхлопотал-таки. И отец, выходит, прав оказался.

●  
Летом Генка с Лешкой да Федюшкой опять домовничали. Мать, как поправилась, сразу на работу стала ходить. Да не та уж она работница. Слабость, одышка, и все мерзнет. Но мать-то еще ничего, а вот Анна Логачева, бедняжка, до сих пор лежит, не поправляется. Плохая совсем. Муж ее, Сергей Логачев, чем-то похож на Ивана. В последнее время он часто заходит к Осокиным.

Мишке Логачеву, как и Генке, восьмой год идет. Крепкий, проворный и драчливый был Мишка, пока мать не болела. А теперь ходит, как в воду опущенный.

Через несчастье и подружились Сергей Логачев с Иваном Осокиным. Иван специально летом барсука добыл и отдал Логачевым. Но барсук летний, худой, видать, без пользы для больной.

Вот и сейчас Сергей Логачев у Осокиных. Тусклый, небритый.

— Мишку отправлю копны возить, — говорит он. — Пусть хоть сам себя кормит. За копну по сотке платят. Сто копен — трудодень.

— Если ездить умеет да конь неплохой, может заработать, — соглашается Иван. — Я своего тоже, наверно, pošлю. Пусть вместе работают. Слышь, Генка? Завтра копны возить поедешь. Хватит баклуши бить.

А когда это они били баклуши? Отец без работы никогда не оставит, все что-нибудь придумает...

Как-то привез громадный пихтовый сутунок и задание Генке с Лешкой дал — распилить его на двадцать чурок. И метки натюкал. А сутунок такой толстый, что пила вровень с

глазами ходит. Пока запилишься — натерпишься, опилки в глаза летят. Да и пила короткая для такой лесины. Ширшир, а работы не видно. Жарко, пить хочется. Четверть с квасом принесли к сутунку. За первый день кое-как две чурки отпилили, так отец еще недоволен:

— Я вам сколько велел отпилить, песовы морды? Три чурки. А вы? Вот возьму ремень...

Но не шибко уж строго сказал, и потому Генка начал торговаться. Пила, мол, плохо разведена и тупая шибко, наточить надо. Да еще серы много в сутунке, на пилу налипают, не протянешь. Пришлось отцу и пилу развести, и наточить как следует. И керосину дал немного, чтоб пилу от смолы очищать. Много легче стало. Три чурки легко отпилили. Могли бы и все четыре, да решили шибко не стараться, а то отец и прибавить может. Так по три чурки в день и пилили.

А соседям — диво. Это надо же! Тут мужикам повозиться пришлось бы, а они пилят и пилят. Тетка Саша до того умилилась и раздобрилась, что даже творожных шанежек принесла. Но Генка с Лешкой от шанежек отказались. Что они — сопляки какие? Это вон девчонки Ложковы все за шанежками шастают. А они и без подачек обойдутся. Если бы, конечно, тетка Саша к ним и раньше относилась, как к Ложковым, они, может, и взяли бы шанежки. Вкусные они у нее, с маслом. И вообще из ее двора всегда сытно пахнет. А что ей? Живут вдвоем, ребятишек нет. Хватает.

Может, со злости, может, потому, что втянулись, а скорее всего доказать хотелось тетке Саше, что и без ее шанежек у них силы достаточно, в тот день они пять чурок отпилили. Даже сами удивились: такую работу свалили!

Как распилили весь сутунок, отец расколол чурки на поленья. Большая поленница вышла. Генка с Лешкой сложили ее, а она — раз, и вся рассыпалась: не догадались клетки по бокам выложить. А как выложили да по доске выровняли, так теперь куда с добром стоит.

А отец еще про какие-то баклуши говорит. Теперь вот копны возить... Ну и что ж, он не отказывается. Лешке, может, еще хуже теперь: один с Федюшкой останется. И огород, конечно, на нем.

Отец велел Генке размочить сапоги, а то они засохли. Генка положил их в шайку с водой. Потом вынет, вытрет и помажет дегтем: завтра — на покос.

Утром отец приехал на Серке, а в поводу привел Макариху — чалую толстобрюхую кобылу с мосластыми ногами и



острой, как пила, хребтиной. При ней жеребенок был такой же масти, но сытенький и круглый.

На покос Генке предстояло ехать одному, без отца и матери. Отец коней пас, а мать ушла с другими бабами косить сено на нижние луга.

Позавтракал Генка не густо — похлебка из брюквенной ботвы, забеленная молоком. Но мать сказала, что на сенокосе хорошо кормят — щи с мясом и хлебная затируха на молоке. Да еще чай с медом.

Генка уже собрался и стоял на крыльце, когда с конного двора двинулись подводы и верховые. Вот по мосту копыта и колеса застучали, вот поднялись на яр, а потом и с осокинской избой поровнялись. Тут и Генка на Макариху взобрался прямо с крыльца, как отец велел. Лешка разревелся:

— И я поеду копны возить!..

А Генке, правду сказать, расхотелось на покос. Как глянул на Макариху — так и расхотелось. Если бы конь был как конь, а то кляча последняя. Ее в колхозе держали потому только, что жеребят хороших приносила. Досада взяла. Почему это Генке отец Макариху дал, а Мишке Логачеву — хорошего коня, Журавля. Вот всегда так. Людям отец что лучше отдаст, а себе — что похуже. Мать его всегда укоряет за это. И Васю-председателя жена за то же укоряет.

Генка вспомнил, как отец с бандитами встретился. С Васькой Колпаковым да с Кузькой Пислегиным. Конокрады известные, все время в бегах. Хитрые. Как-то раз в чужой деревне украли коня прямо днем. Один на коня сел с ружьем, а другой впереди со связанными руками пошел. Все думали, это уполномоченный арестовал кого-то и в сельсовет ведет. А они, как выбрались за деревню, так оба на коня — да и дуй не стой. Днями-то в Стародубке только старые да малые остаются. Вот Васька с Кузькой и храбрые. Прямо по деревне шастают. Правда, и ловили их, но они такие варнаки! Обязательно убегут. И все их боятся.

В тот день Генка с Володькой возле моста играли. А Кузька да Васька с гармозой из крыловского дома выкатились. Нарядные — один в красной рубахе, другой — в черной. Двинулись по дороге к мосту. Васька на гармошке играет, меха рвет, а Кузька поет:

Шире улочка раздайся —  
Шайка жуликов идет!  
Шайка жуликов-мазуриков  
Нигде не пропадет!..

Эхо по логам раздается. Обнаглели совсем. Народ на работе, страда самая, а они, назло всем, гулять вышли.

Тут Иван Осокин с горы на лошади прямо на них выехал. Встретились.

— Ты-р-р! — закричал Кузька и схватил коня под удила. — Ты-р-р, так твою... Говори, жить хочешь?

Отец молчал, дымил трубкой. Скулы побелели и брови сошлись. Эх, была бы у него сабля, как в кавалерии. А то только прутик в руках.

Конь на дыбы вздымается, а Кузька долговязый все равно до узды достает.

— Что, донесешь, Осокин? Говори!

Иван молчал. Конь кругами ходил, храпел, удилами гремел, а Васька тем временем вынул нож из-за голенища да по подругам пластанул. Так-то, мол, далеко не ускачешь.

А Кузька наган показывал.

— Мы ведь с тобой, Ванюха, вроде как свои теперь. Ты, говорят, тоже с колхозом несогласный. Так что одним миром мазаны. И не вздумай брякнуть!

— Не путай хрен с редькой! — сквозь зубы отвечал Иван. — Молите бога, что ружья у меня с собой не случилось...

— Ах, ты так?!

Неизвестно, чем бы дело кончилось, но тут с нижних лугов показалось двое верховых.

— Милиция! — заорал Володька-хромой.

Зря, дурачок, орал. Может, и поймали бы конокрадов, а то они оглянулись, увидели верховых и кинулись бежать. А у Ивана седло уж на хвост съехало. Слез он и стал подруги связывать. Удрали Кузька с Васькой в Каменный ложок. Там такая чащоба, что и пешком не продерешься. Так милиция и не поймала их. Стреляли, правда, но никого не убили.

Что отец у Генки смелый, это всем известно. По тайге всегда один шастает, ночует где угодно. Бабушка Варвара сказывала, в барсучьей норе даже ночевал. У норы был выход. Там отец капканы поставил, а сам с другого конца под скалу полез зверя выгонять: собака молодая была и боялась. И застрял — ни туда, ни сюда. Да еще вниз головой. Хорошо барсук не кинулся с зубами — в капкан попал, слышно было, как верещит и с собакой дерется. Тут бы помочь собаке, а вылезти нет никакой возможности. Ночью собака домой убежала, а отец не вернулся, и дедушка собрался искать его. Но

тут он сам появился. Удалось все же как-то извернуться. Говорит, похудеть успел, потому и вылез.

Вот и бандитов отец не испугался. И так получается, что ничего вроде мужик, а вот удружил Генке Макариху. Другие, небось, на хороших конях копны возить будут...

Так со слезным настроением выехал Генка со двора и пристроился к другим сенокосчикам. Какой-то здоровенный мужик сидел на передней лошади без седла и босиком, а в руках держал целую охапку вил и граблей. За ним ехали ребяташки, Володька-хромой в том числе. Один костыль у него висел на ремешке через плечо, как сабля. Генка было пристроился за ним, но Спирька, ехавший следом, хлестнул Макариху прутом. Макариха прыгнула в сторону, и Генка чуть не свалился. Спирька и другие засмеялись. Еще обиднее стало Генке. На земле со Спирькой Генке и делать бы нечего. А на Макарихе... Так и подмывало бросить клячу и домой рвануть. Спасибо Володька выручил:

— Езжай впереди меня. Вместе поедем. Они все равно укачут, как за деревню выедем.

И правда. Ребятишки-копновозы взялись лошадёй нахлестывать и понеслись кто рысью, кто махом. Интересней всех смотреть было на Мишку Логачева. Сидел он на Журавле, как на каланче, выше всех, а Журавль на веревках плохо копны возит, так его в волокуши запрягли. Скачет Журавль, ноги-ходули разбрасывает, Мишка на нем поплавком прыгает, а за волокушей пылища столбом.

Только мужики да Володька с Генкой ехали шагом. Володькин Савраска тоже прытью не славится. Трюх-трюх-трюх... Чуть пробежит — и шагом плетется. Макариха то и дело оглядывается, ржет, жеребенка подзывает, на Генку ноль внимания, будто на спине комар сидит, а не человек. И вообще, разве можно сидеть на такой кляче? Хребтина так и режет пополам. А пузо у нее такое, что ноги приходится раскорячивать во всю ширь. Наказанье божье! Старая фуфайка, подложенная вместо седла, давно уж выбилась из-под Генки и вот-вот упадет.

— Давай привяжем ее, — говорит Володька. — Лычек надерем и привяжем.

— Давай.

Лучше всего лычки из акации. Заехали на косогор, Генка слез и надрал длинных лычек. Пока сплетали их, к рукавам фуфайки привязывали да к Макарихиному пузу прилаживали, много времени ушло. Но седло ничего получилось. Лежит

фуфайка на хребтине, а рукавами будто бы обнимает лошадь. Ехать стало легче. Рысью погнались.

— Это тебя отец нарочно без седла отправил, — говорит Володька.

— Почему?

— А сначала надо без седла ездить научиться. Ты ж еще не ездил. А Макариха смиренная.

И правда. Генка на лошадях совсем почти не ездил.

— Папка говорит, в кавалерии завсегда так. Сначала без седла гоняют. И на смиренных. А то без привычки и в стременах можно запутаться.

— Дак то в кавалерии... А тут и у Спирьки, и у тебя вон седла.

— Дак мы уж когда на лошадях гоняем! Смальства с самого.

Нет. Не потому отец Макариху Генке удружил, а потому что Журавль Мишке Логачеву достался. У него мать ведь хворает.

Хороши Верхние луга! Тянутся они вдоль Илицы — ровные, чистые, с куртинами берез и тальника. С краю уже стоят стога, а дальше лежат нагребенные валки. Еще дальше кто-то на конных граблях работает. Но самое приятное, что на чистых и прибранных этих лугах там и тут стоят веселые березы — как нарядные гости в праздничном доме. Так и хочется посидеть под ними, повалиться и послушать, как шумят они.

Тот самый мужик, что ехал с вилами, теперь сидел под березой и на обушке, вбитом в изогнутый комель дерева, отбивал косу. Хлесткий звяк, похожий на крик коростеля, разносился по лугам и похлестывал за речкой в крутой каменистый склон Бома. Тик-дик, тик-дик!..

Несколько молодых мужиков в рубахах навывпуск сидели под старой наклонной талиной. Один скоблил ножичком рожок у деревянных стоговых вил, другие курили. Это стогометчики. Они ждут, когда навезут копен, и тогда начнут метать и командовать, кому куда копну ставить.

Генке всегда любо смотреть на сильную мужскую работу. Дрова ли колют, землю ли копают, сено ли мечут, сруб или мостик ладят... И сейчас не копны бы возить, а сидеть в сторонке, чтоб никому не мешать, да смотреть и любоваться, как мужики стог заведут, как бесформенные груды сена примут красивые очертания, улягутся и на глазах начнет расти нечто величественное. Потом кого-нибудь наверх посадят

и вывершат стог. Будет он стоять аккуратно причесанный, высокий, запашистый на всю округу. А вечером от него через весь луг ляжет тень. Потом стог усядется и будет похож на церковную маковку. На лугах подрастет отава, пастух пригонит сюда стадо. Ему тоже будет хорошо сидеть у стога, смотреть на луга и слушать, как шумят березы...

— А ну, орлы! Погна-яй!

И правда, пора погонять — другие вон уже копны везут. Генка с Володькой потрусил к копнам, там и тут замаячившим по лугу.

Ох и натерпелся Генка стыда, пока приладился. То не к той копне заворачивал, то не так Макариху ставил, то и вовсе она не слушалась его. На него покрикивали и даже укоряли. «Эх ты. А еще мужик! До сих пор копны возить не научился...» А ему все казалось, что это Макариха виновата, будь она... Как хочет, так и виляет по покосу, да все жеребенка своего стережет. Потом дело пошло, но все равно не мог он лётать так быстро, как Спирька или Мишка Логачев. Да и старая фуфайка — все же не седло, а хребтина у Макарихи острая, и скоро обе половинки свои натер он до крови. Сказать кому-нибудь про это стыдился, но и терпежу не было. Когда никто не видел, Генка ложился животом на холку своей клячи.

А жара все разгоралась. Пауты облепили Макариху, она бесперечь мотала головой и хвостом. Генка покрикивал на нее, а ей хоть бы что. Плевать ей на Генку. Захочет жеребенка кормить — станет и ржет, подманивает его. Мочиться захочет, тоже станет, где ей вздумается.

К обеду и Володька, видать, натер себе зад и сидел боком, по-женски. Генка тоже попробовал так сесть, но чуть было не опрокинулся. Не на такой хребтине сидеть боком. Пришлось перемогаться. Красота, раздолье на покосе, да все к черту испортила эта Макариха. Мука-мученская. И никому не пожалуешься, а то стыда не оберешься.

— Ну как, Генаха? Сколько привез? — спросил Володька.

— Пятнадцать.

— А я уже тридцать.

— Врешь!

— Вот те крест! Спроси учетчицу. Эвон под березой сидит.

Оказывается, на сенокосе была учетчица. А Генка и не знал. Думал, сам считает — и ладно.

— Эвон в красном платке!

Генка подъехал к молодой женщине, которая сидела под березой и что-то писала в тетрадке.

— Я пятнадцать штук привез, — краснея, сказал он.

— Только пятнадцать? Маловато.

— Ишо успею, — тихо сказал Генка и поехал за следующей копной.

А женщина почему-то рассмелась.

Дядя Логачев, Мишкин отец, который на стог подавал, подошел, поправил на Макарихе фуфайку, да еще потничок какой-то подложил. И все это без лишних расспросов.

В роще тем временем горел костер и котлы кипели. Пахло вкусным. Давно уж есть хотел Генка, да стеснялся за свою сумку братья, где кое-какая еда была. Так она и висела на талине. А стог теперь уж метали в другом месте.

Вот и обед. У всех свои чашки, а Генка не догадался взять, сам виноват. Пошел искать сумку. Едва нашел. Вернулся и сел обедать в сторонке. А другие ребяташки к котлу полезли. «Мне!.. И мне!.. И мне!..» Генка не пошел, потому что копен меньше всех привез, чашки нет и вообще смальства приучен не лезть к котлам, как собачонка какая.

Только когда уж все наелись да разбрелись отдыхать под березы, тетка-повариха заметила Генку. Наверно, она и раньше видела, да на испыткок брала. Но Генка не смотрел ни на нее, ни на котел. Она сама принесла ему полную миску затирухи. А щами с мясом, оказывается, кормили только стогометчиков — у них самая тяжелая работа. Но и то хорошо — хлебная еда, сытная. Генка чуть не всю чашку съел — наездил аппетит-то на Макарихе, хорошо протрялся.

Приковылял Володька, уселся рядом, спросил:

— Ты сколь копен привез-то?

— Семнадцать...

— Ты, Генка, не будь дураком. Привез десять копен, а скажи — тринадцать или, там, пятнадцать. Все пацаны так делают.

— Врешь!

— Чего врать-то? Думаешь, узнают в стогу? Его же снова на копны раскладывать не станут.

Генка покраснел.

— Не, я так не буду.

— Ну и дурак.

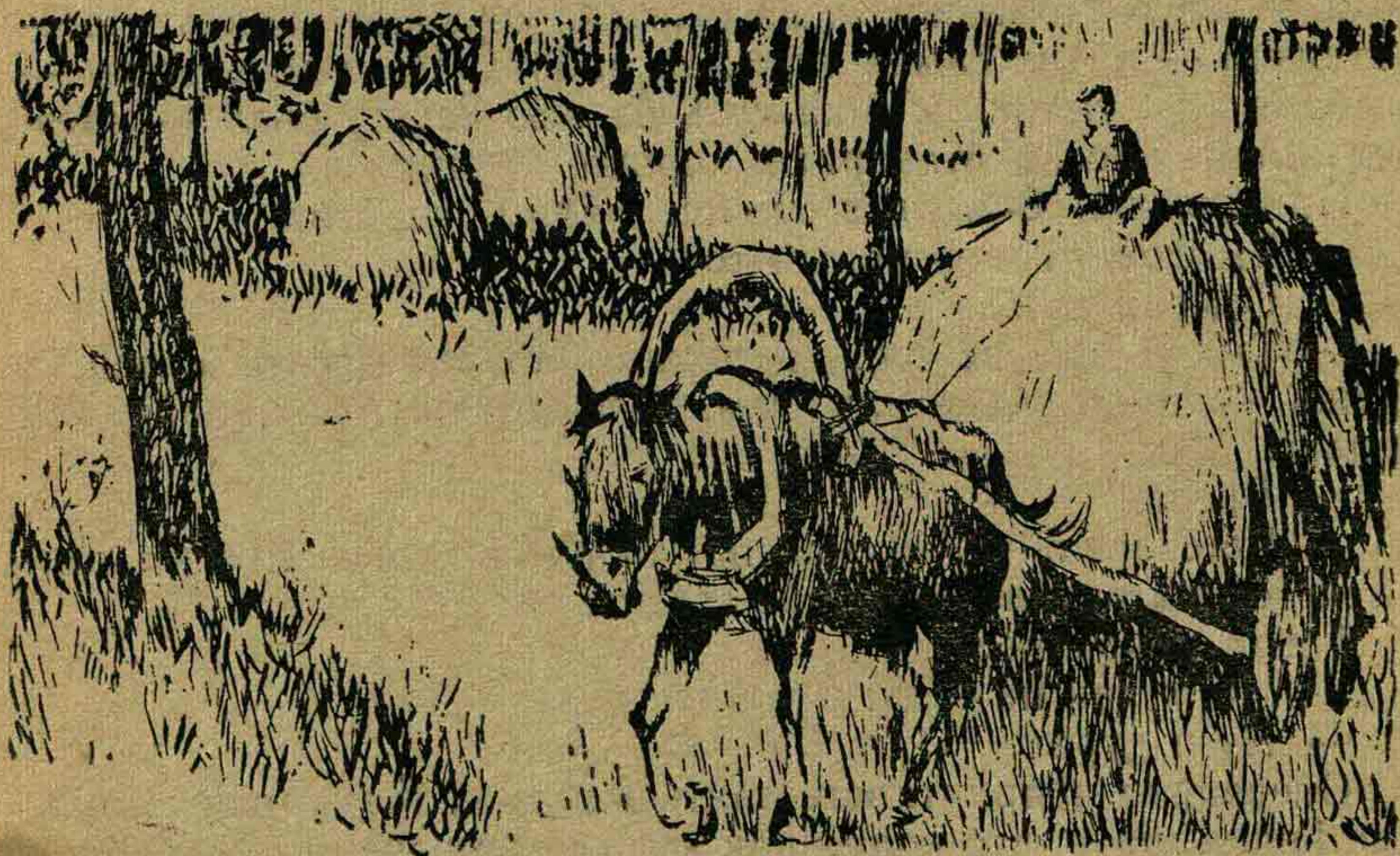
Очередная неприятность опять же из-за Макарихи вышла. Где Генке знать, что кормящая кобыла больше питья требует.

Не догадался напоить лишний раз, хотя Илица совсем рядом. И вот когда он проезжал мимо стана, где обедали и где теперь стояли холодные котлы, залитые водой, Макариха сама свильнула и полезла мордой в большой котел, в котором затируху варили. Генка изо всех сил тянул поводья, но где там! Только сам сошмыгнул на поводе прямо к гриве. Сунула Макариха морду в котел и Генку поводом сдернула. Он кувыркнулся и вниз головой соскользнул по гриве в котел. Хорошо нырнул, удачно, не ушибся ни сколько, но зато тестом весь вымазался.

Влез из котла, привязал Макариху — и бегом к Илице. Рубаху и штаны в воде отполоскал, сапожки вымыл, надел мокрую одежду, обулся и скорей к Макарихе. Подвел к пеньку, а с пенька на нее взобрался. Вот и все. Будто нарочно сбегал, в воду бухнулся и теперь весь мокрый, чтоб было прохладней. Хорошо, никто не видел, а то бы сраму было! И уж, конечно, как-нибудь дразнить бы начали. Наверно «Затирухой» и дразнили бы.

После купания в котле да в Илице, вроде, полегче стало. Генка погонял Макариху почем зря — разозлился все-таки. Но копен все равно за день привез меньше других. Спирька вон больше ста, Володька около того, а Генка всего-то сорок копешек. Значит, и соток сорок, даже полтрудодня не вышло.

Вечером с конного двора Генка шел враскорячку. По пути

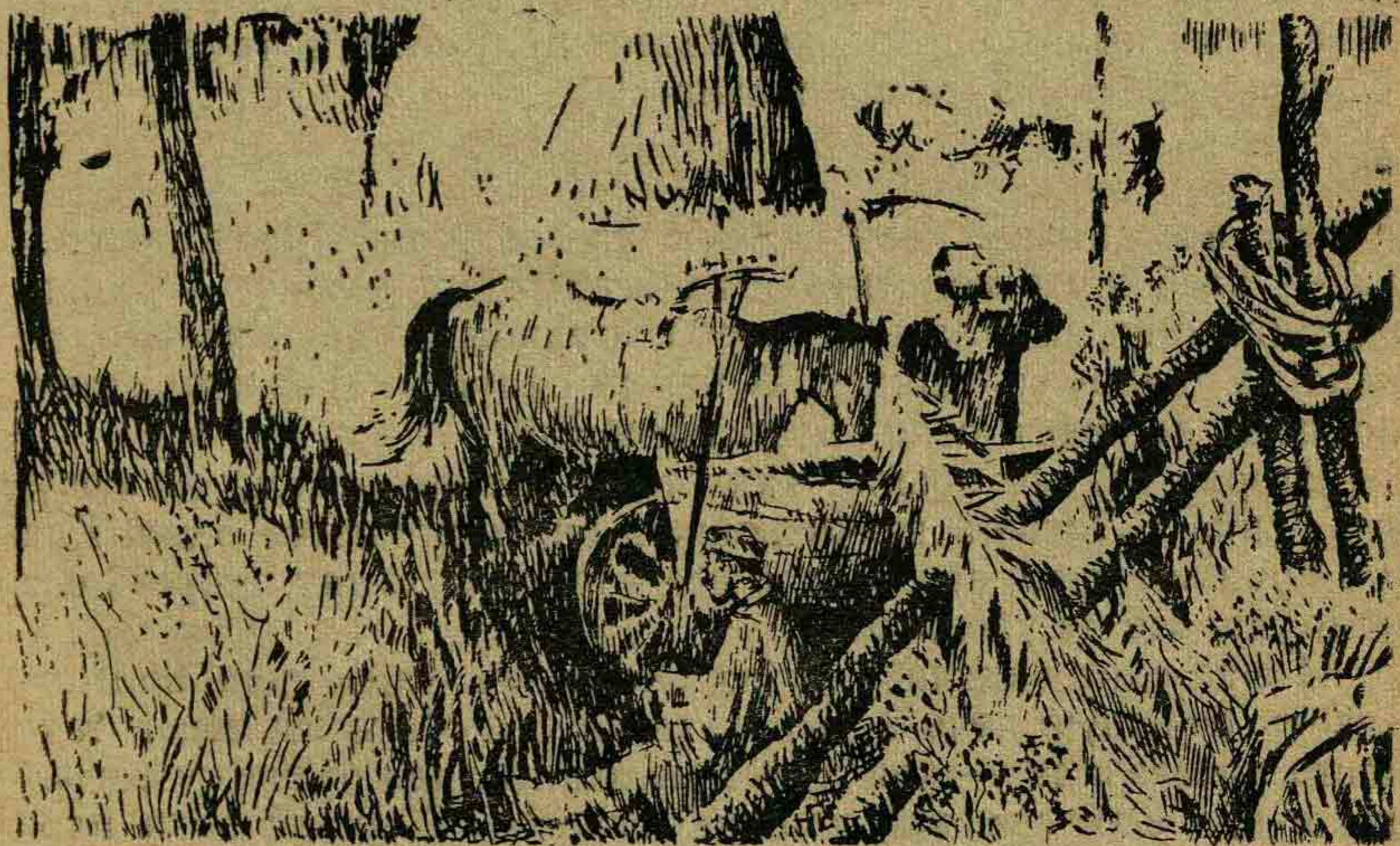


отец догнал, спросил, почему так идет. Генка сказал. И на-завтра отец седло откуда-то принес. Хоть старенькое, не как у Спирьки, но ездить стало куда легче. К тому же и коня своего пастушьего отец Генке отдал, а сам взялся объезжать молодого дикошарого Серчика. Эх и поносился он на нем по острову! Долго гонял, пока Серчик в покорность пришел. Молодой жеребчик вспотел весь, пена клочьями падала, но отца так и не смог сбросить. Он сидел на нем, как прилип-ший, с трубкой во рту.

На Верхних лугах управились за неделю, и все это время Генка копны возил. Хорошо наловчился, и даже смешно бы-ло, когда первый свой день вспоминал. Лешка по-прежнему дома сидел и вечерами слезно упрашивал отца с матерью от-править и его копны возить, а Генку оставить домовничать. Наконец отец согласился — но тут на завтра дождь пошел. И не только Генка с Лешкой, все взрослые на работу не пошли. А раз ненастье — собрание созвали.

Вот после собрания-то и стало известно, что копен Генка Осокин меньше всех навозил. Как же так?! Это первый день меньше всех, а потом-то наравне со всеми и даже лучше кой-кого. Он же сам копны считал. У других получилось аж по десять трудодней, а у Генки только три. А главное — отец недоволен:

— Лентяйничал там. Другие старались, а ты...





Тут уж Генка не вытерпел, рассказал про Володькину арифметику.

Отец помрачнел.

— А не врешь? Мотри у меня!

Ох уж этот отец! И не любит же, когда прибедняются или на кого-то жалуются.

— Можешь сам проверить, — обиделся Генка.

Разговор за ужином был. Доужинали, отец ушел под порог и закурил у открытой двери. Долго молчал, а потом опять свое:

— Можно и проверить. Дело нехитрое...

«Да как же можно теперь проверить? — думал Генка. — Копны-то в стогах уж».

Но проверить, оказывается, можно было. В новом колхозном журнале была напечатана таблица. Там указано, при каком обхвате и перекиде стога сколько сена получается. Отец пошел к Васе-председателю, рассказал прямо при Генке, в чем дело, и предложил: давай проверим, дескать, врет Генка или нет. А сами посмеиваются, будто Генка несерьезный человек. Да хорошо смеется тот, кто смеется последний. Когда после усадки стога обмерили, подсчитали центнеры, так сена много меньше получилось, чем было записано со слов копновозов.

И тогда Вася-большой так решил: всем пацанам поровну выписать, чтоб не ввали в следующий раз. И все с ним согласились. Вышло у всех по пять трудодней. Говорили, что Жигановы были недовольны Васей: мол, свой, а трудодни со Спирьки срезал. Зато правильно!

●  
А лето все дальше катится. Вот уже другая страда приспела — хлеб жать-молотить. Радуются стародубские — хорошая пшеница выдалась на новой, степной земле! Наверно, по кило на трудодень выйдет. Живи да радуйся. И никто, конечно, дома не сидит, если трудоспособный.

Вторая неделя пошла, как отец с матерью дома не ночуют. Генка с Лешкой да Федюшкой опять остаются одни. Как и в прошлое лето, на огороде все растет на славу, стеречь его надо, далеко не убежишь.

И еще одна задача у ребят Осокиных: через день протопливать большую печь и выпекать хлебы. Мать им все в точности рассказала — как дрова положить, как загнетку загрести и под выместить, как квашню завести. С мукой пока пло-

ховато, так надо побольше тертой картошки добавлять. Картошка подросла уж, ее начали подкапывать. Не меньше ведра картошки требуется, чтоб квашня была полновесная. Муторно, конечно, тереть картошку, но что ж поделаешь — трут по очереди, даже Федюшка помогает.

Главный пекарь — Генка, так мать велела. Вот он снимает с припечка квашню и развязывает наквашенник. В нос бьет кисловатый и вкусный, с хмелинкой, запах дрожжей. Вот квашня стоит на лавке, а в ней установлена большая терка. Лешка моет картошку, а Генка трет. Полведра он изотрет, а полведра — Лешка, по справедливости. Потом главный пекарь бросит в квашню две большие пригоршни муки, веселком все перемешает хорошенько, завяжет наквашенник и поставит квашню на шесток, к теплу поближе. Печь всегда теплая. Завтра утречком, когда квашня подойдет, надо еще пригоршни три муки бросить и окончательно замесить. Это самая тяжелая работа.

Рано утром, когда над Илицей стелется туман, в деревне еще тихо и только ботала гремят за околицей, у Осокиных, как у всех добрых людей, топится печь и в большом семейном чугуне варится картошка. Генка всегда просыпается рано. Да еще, правду сказать, глянется ему печь затапливать, тесто месить, булки выкатывать и чувствовать себя наравне со взрослыми. Да еще он вроде теперь главный хозяин в доме и на нем большая ответственность лежит. Как поставит он дело в доме — такое и житье будет. И хочется, чтоб все знали, что на Генку вполне понадеяться можно.

Вот он насыпал муки на столешницу, руки припудрил мукой и — р-раз их в квашню. Выхватил охапку шипящего спелого теста — и на стол. И давай похлопывать, подбрасывать, уминать, закруглять со всех сторон, как мать учила. Вот и готова булка. Теперь ее надо посадить на капустный лист, пусть постоит, пока печь протапливается. И все другие булки так же.

Наконец квашня пустая, только на дне оставлено немного теста для закваски. Генка наливает туда с ковшик воды, бросает пригоршню муки, размешивает, завязывает наквашенник и опять ставит квашню на припечек.

Когда печь протопится, Генка сгрудит угли в загнетку, подметет под веником на палке, а потом на деревянной, чуть обгоревшей лопатке начнет сажать булки в печь. Посадит — и вьюшку слегка прикроет, чтоб сразу большим жаром не обожгло хлеб. Посидят булки, зарумянятся, приподнимутся,

тогда вьюшку можно совсем закрыть и заслонку вставить. И все время надо следить, заглядывать, как там хлебушко печется. Потом для пробы вынуть ближнюю булку, на руках прикинуть и помять слегка, а то и кусочек отломить. Генка знает, когда хлеб готов, и вынимает вовремя. Бывает, конечно, обгорят иные булки, но чтоб недопек — такого еще не случалось.

И вот свеженькие булки обметены крылышком. Румяные, круглые, они сидят рядком на противне, а сверху прикрыты полотенцем, чтоб обмякли. По избе разносится ядреный хлебный дух.

В обед или под вечер в деревню приедет нарочный, специально за хлебом. Соберут ему сумки с провизией, и он увезет их в поле, на стан, где круглосуточно идет молотба. Заедет и к Осокиным. И похвалит.

Вечером тетка Саша подоит коров, процедит его, разольет по крынкам и тоже похвалит Генку. Похвала заслуженная, и Генка не возражает.

Да если бы взрослые побольше доверяли, так ребята Осокины и не то еще сделали бы!

Завтрак у них обыкновенный — свежий хлеб с молоком да картошка. Конечно, это не то что настоящий хлеб, без примеси, но и он вкусный. А скоро появится хлеб нового обмолота — со степным запахом, про который так часто мать говорит. Степной хлеб, мол, сразу отличишь по запаху и вкусу. Скорей бы...

Днями в Стародубке пусто, остаются только малые, да старые. Ленивые свиньи лежат в тени глинистых берегов Илицы, у завалин и в лопухах. Берега и завалины подрыты ими повсеместно. Старые заплесневелые лужи тоже расхлюпаны и размазаны свиньями, и запах тут особенно деревенский. Тихо, будто все кругом вымерло, только иногда вдруг слышатся ребячьи голоса на речке или дед Жиган шум поднимет.

Как-то вечером Катерину отпустили домой попроведать своих. Довольна была, что все в порядке, что Генка хлеб хороший печет. Молодец. И задания, которые они с отцом давали, почти все выполнены.

Утром она хлеб сама испекла. Генка сравнил со своим хлебом, и почти никакой разницы не было. Хорошо!

Пришел Володька — стосковался говорит. Конечно, Осокины были рады ему. Врать и выдумывать Володька мастер. Я, говорит, сам видел самолет-ироплан. С папкой в район ез-

дили и видел, как ребяташки вот такие же лётали. Крылья к спине приладили и лётали с горы. Разбегутся — и пошел! Вон с той скалы запросто слетели бы...

Напомнил Володька про скалу — и сердце заныло. Это как раз над жигановским ключом, где воду берут. Весной внизу еще снег был, а скала эта — она уступами спускалась от самой вершины горы — была уже голая и напоминала большое крыльцо. Травка-загад вытаяла на солнцепечных ее площадках. Решили сходить туда. Может, медунки уже есть или кандык проклюнулся. До скалы через снег добираться было трудно, снег уже пропитался водой и проваливался. Здорово вымокли и в сапоги снегу начерпали, пока выбрались к скале. Тут уж солнце хорошо припекало. Посидели, поглядели с высоты на Стародубку.

А когда пошли выше и стали высматривать в загаде всякие ростки — вдруг увидели змею. Свернулась калачиком и греется на солнышке. Кто-то палкой ее хлестанул, и тут все увидели, что змей много. И там, и тут зашевелился загад, и поползли они куда-то вниз, в расщелины. А Лешка — он всегда догадливый — давай их палкой поддевать да сбрасывать вниз со скалы. И другие так же делать стали. Падают черные и серые гадюки на белый снег, шевелятся и под гору, как лыжи, скользят. Снег под ними не тонет, и они с разгону аж на дорогу выкатываются. Интересно!

Потом взобрались на самый верх. Дух захватывает. Внизу снег блестит, как расплавленное серебро, дорога по лугу черной лентой вьется, навоз на ней вытаял. На Илице весь снег водой пропитался и кажется синим-синим, а тальник по берегам зарумянился и подернулся нежным пушком. Большая часть деревни — на той стороне, в косогоре, и видно все дворы, как на блюдечке, тропинки, протоптанные в снегу, прясла, проруби на речке... И вся живность на солнышко высыпала — ягнята, телята, коровы, куры, гуси. Крик стоит веселый, вешний...

Вспомнил все это Генка, и в сердце отозвалось. Бывают дни, которые навсегда запоминаются.

— Ну, со скалы сейчас не пойдет, — сказал он Володьке. — Зимой бы пошло, а сейчас нет. А вот с яра вполне можно. Яр без камней, травка мягкая. А из чего мы крылья-то изладим?

— Фанера нужна. У вас нет какого-нибудь ящика магазинского? Ну, в которых папиросы там или махорку возят в сельпо.

— Нету.

— Ничего, у нас два таких ящика.

— А отец не заругает?

— Папка-то? Нет, как-нибудь... Кто со мной пойдет?

Генка остался домовничать, а Лешка с Володькой пошли прямо через остров на ту сторону. Идут, а Генка глядит на них и соображает, как крылья изладить, как лучше разбежаться и взлететь. На острове кое-где таволожки растут, так Володька, чтоб не зацепиться, костыли в стороны и вверх подбрасывает, будто крыльями помахивает. Так это же и есть крылья! Вот к костылям-то и надо фанерные листы прибить, хорошо получится.

Побежал Генка в избу и погнал Федюшку под печь, велел отцовский инструмент подать — молотки, долота, ножовку, сапожный ножик, клещи и все прочее.

— Самолет будем ладить, Федюшка! Летать будем. Да скорей ты там!

Приготовил Генка инструмент и еще на крыльце долго ждал. Наконец показались Лешка с Володькой, но не на острове, а под яром, у самой воды. Шли, оказывается, потаясь, под берегом, чтоб никто не увидел, чего несут. И правильно, могли бы увидеть девчонки Ложковы, которые опять у тетки Саши кормились.

— Ну так, — начал распоряжаться Володька: это же он видел, как ребята летали, — коромысло есть у вас? Вот к коромыслу и привяжем фанеру. Потом на плечи наденем, разбежимся и...

— Нет, Володька. Я тут надумал, это... Знаешь, давай к твоим костылям.

Сначала Володька не соглашался, а потом все понял. Правильно. К тому же Володька костылями так умеет работать, что любо-дорого. Даешь!

Сообразили, что фанера может сорваться с гвоздиков, на-собирали старых обрезков кожи и гвоздики с кожей набили. Получилось крепко. Только вот костыли сильно издырявили, иные гвозди даже насквозь прошли. Но для Володьки это пустяки.

— Ничего, это для пробы. Потом что-нибудь лучше придумаем. По-всякому попробуем — и на коромысле, и на костылях, и просто так на руки надевать станем крылья.

— А как?

— Как, как... Петельки изделаем.

— Правильно, — согласился Генка.

— Ну, а пока на костылях. Кто первый?

Конечно, Лешка. — Он всегда первый. И на телку тогда первый кинулся. Бодучая, а он попер.

Приладил Лешка костыли под мышками, за поперечинки руками ухватился. Помахал — любо смотреть: крылья да и только.

— Давай!

Яр — где выше, где ниже, где круче, где положе, где можно разбежаться, а где нельзя, — огород мешает. Выбрал Лешка местечко. С метр высоты будет да еще под гору. Откачнулся назад и сиганул. Крылья у него слишком высоко задрались и вывернулись.

— Эх ты-ы! — кричит Володька. — Надо же ровно крылья держать! А ты сразу на посадку пошел, как журавель! Дай-жо я!

Нет, Лешка не дал, еще раза три прыгнул. Один раз совсем ровно крылья держал и вроде пролетел немножко. Но шибко у него руки устали.

— Привыкать надо, — учит Володька, — а ты как думал? Раз — и полетел? Нет, не сразу... Дай-кось мне.

Взял Володька костыли-крылья. Прыг, прыг на одной ноге. На самом краю, перед яром, остановился. Пригнулся, оттолкнулся и сиганул вниз головой, как в воду ныряют, а крылья — навыверт. И — чудо! Володьку подбросило, тряхнуло и стоймя поставило. Он даже не упал.

— Вот как надо! — заорал он снизу. — Понял, нет?!

Но видно было, что Володька все же сперва сдрейфил, а потом обрадовался, что так благополучно вышло.

Потом Генка стал прыгать — живот сильно покарябал и лицо.

Лешке не хотелось никому уступать. Он выбрал место, где яр самый высокий и крутой, да еще на прясло залез. И оттуда, на манер Володьки, вниз головой сиганул. Сначала ровненько так пролетел, а потом его боком поставило, и он — кубарем на землю. Треск слышался.

И вот теперь лежит Лешка дома. Ногу разнесло, как бревно. Возили его к доктору кости править. Кости ему поправили, а ногу толсто забинтовали. Теперь надо ждать, пока срастется.

Конечно, все в подробностях известно всей Стародубке. Иные Володьку ругали. Сам, мол, хромой и другого калекой сделал. Но Генка с Лешкой не ругали. Володька не виноват. А нога у Лешки заживать стала.

●

Генка с Лешкой хорошо уж освоили все домашние дела, даже для игры время выкраивали. Вот недавно, хоть Лешка еще и хромает, пошли с пилой и топорами на гору за Стародубку. Там в каменном крутяке стояла высокая береза. Решили ее свалить и колесиков из нее навыпиливать, чтоб изладить тележку. Передняя ось, задняя ось, четыре колесика, сверху полочек — вот и телега.

Ближние березы давно уж на дрова свалены, а эту никто не трогал: пилить ее неловко. С одного боку почти отвесная крутизна, с другого — толстая валежина. А свалить надо непременно под гору, а то на горе густой высокий пихтач стеной стоит.

Ну так что ж, взрослые не смогли или поленились, а Лешка с Генкой взялись за дело и должны до конца довести. Понимали, что работа опасная. Зря не суетились и даже не спорили, а советовались. Сперва вырубил большую вилагу и с горы уперли ее в первые сучья березы. А как взялись пилить и пила вся зарезалась — вслед за ней топор загонять стали, чтобы не зажало пилу и чтоб береза отходила под гору. Долго пилили, осторожно. Стоять сильно неудобно — валежина мешает, крутизна под ногами, не сразу и убежишь в случае чего.

Хотели уж бросить, но тут береза вдруг треснула, вилага немного вниз соскользнула. Они быстро ухватились за вилагу и подперли березу. Теперь самое трудное. Лешка еще хромает и бегаёт не шибко, поэтому он отошел в пихтач, а Генка один стал топор в прорезь загонять. Стук, стук обухом по обуху — топор чуть не до пилы дошел острием. Наконец пошла береза. Упала она ладно, но пилу подбросило, закрутило, и Генке съездило ручкой по затылку, в голове загудело. Но из-за этого не стоило огорчаться, главное — вышло.

Волновались, конечно, даже ноги дрожали. И гордились собой, но показать друг дружке никак не хотели — это значило бы, хвастаются. Оба старались глядеть буднично и говорить ровным голосом.

Стяжками сдвинули комель, чтоб наперевес был, и стали пилить. Это дело нетрудное, надо только запил сделать правильно, чтоб как раз поперек, а то колесики будут кривые.

Напилили с запасом — шесть колесиков — и пошли домой. Федюшка молодец: хоть на крючке сидел, а не плакал,

что долго дожидался. А как увидел колесики, обрадовался: телега будет!

Телегу ладить совсем просто. Центровкой дыры просверлили в середине колесиков, из досок оси сделали, а на оси поставили свиное корытечко. Вот и телега. Садись и дуй с горы.

Стали кататься — пацаны сбежались, завидуют, всем хочется. Пусть катаются, не жалко. Главное, что сами телегу изладили.

Скоро телега надоела, и ее отдали в полное федушкино распоряжение. Ему она тяжеловата, пыхтит, когда на гору тянет.

Играть теперь больше удастся потому, что на огороде уже все, почитай, выросло. Огурцы да арбузы пошли в засол, горох и бобы обмолочены, табак обломан и сошнурен, а прочее в земле сидит, и курам не добраться. Так что и побегать можно.

За Стародубкой есть высокие скалы, а под ними чистый склон, высокий яр, и внизу Илица течет. Снизу на скалы ни за что не взобраться, а по гриве, пихтачом, можно. Идешь, идешь — и вот он, обрыв. Слева и справа каменистые крутые ложбины и провалы. На самой главной скале, где ровная площадка, из валежин и срубленных пихточек построили крепость. Топор всегда с собой брал кто-нибудь.

Верховодил на этот раз Колаха Казанцев. Он уже книжки читал и знал всякие новые слова. И что это крепость будет, он же сказал. Даже спел:

В высокой теснине Дарьяла,  
Где роется Терек во мгле...

Интересные слова, аж дух захватывает. До чего шибко иные слова действуют. «В высокой теснине Дарьяла...» Ай хорошо! Молодец Колаха.

Как крепость сделали, устроили бой. Опять же Колаха командовал — он уже две группы закончил в Калташинской школе. Все знал, как Тима бывало. И хоть Генка Осокин не уступал ему в силе, в бою он непрекословно подчинялся Колахе. И вообще, Колаха не вредный, справедливый. Худоватый, легкий, костистый, а глаза большие, серые, брови — размашистые. Орел! Его так Орлом и хотели прозвать, но он не согласился. Ястреб, говорит, лучше. И звали его Ястреб.

— Всем таскать камни и складывать вот сюда! — сказал Колаха и указал на край обрыва.



Много камней приготовили. Иные вдвоем несли.

— К бою готовьсь!

Все кинулись к каменной гряде, приготовились. Тут Колаха выхватил наган-поджигу и дал оглушительный выстрел.

— Ур-ра-а!

И началось, и началось... Все камни вниз полетели. Летят, сшибаются, выворачивают другие камни, ломают пни и валежины, а вырвавшись на чистый склон, мчатся вприпрыжку и падают под яр в Илицу. Там взлетают столбы воды и стоит страшный грохот, потому что у яра — каменистый перекат. Дым, пыль, каменные брызги и ошметки земли летят во все стороны. И гудит, гудит земля, содрогается гора. Такое волнение, такой восторг, что по всем суставам идет сладостный холодок!

Уж все камни сброшены вниз, а гора все еще гудит, скалы грохочут, старые пни рушатся и с треском валяются на землю. И даже сухой мох внизу загорелся: когда камни о камни бились, летели искры. Прямо как настоящий бой. Ну молодец Колаха, и выбрал же место!

Играли до самого вечера. Федюшка не дождался, улегся спать. А Генке с Лешкой надо еще накопать картошки и натереть в квашню. Лешка копать картошку пошел, а Генка снял квашню и начал сеять муку.

Вечер тихий-тихий. В небе высокие спокойные тучки зарумянились и потухли. Пастух дядя Семен — муж тетки Сашки — пригнал коров. Осокинскую Красульку вместе со своей коровой загнал к себе во двор. Тетка Саша ее опять доит, по договору с Катериной. Генке слышно, как Лешка за окном гремит ведерком. Федюшка на кровати посапывает.

Совсем уже стемнело, и Генка стал налаживать лампу. А она чуть погорела и стала тухнуть: керосин вышел. Принес Генка четверть с керосином, поставил на стол.

Лампа над самым столом висит. Мать снимала ее, когда доливала, а Генка решил прямо в висячую лить керосин: держать ее одному нельзя, надо вдвоем. Стал на стол, отвинтил головку вместе со стеклом, приподнял и отодвинул набок, чтоб лить можно. Налил полную, поставил четверть на стол и завернул головку. А как стал слезать со стола, заметил, что на нем мокро. Пролил, значит, керосин. Теперь пахнуть будет. А мать шибко не любит этот запах и всегда выжигает, где накапает.

Генка тоже решил так сделать. Зажег спичку и на стол сунул. Вспыхнуло пламя — и Генка только теперь увидал.

что весь стол залит. Да уж поздно. Будто костер загорелся. Генка побежал в куть, схватил ведро с водой и плеснул на стол. Еще хуже стало — пламя под потолок взвилось и лампу охватило. Еще хотел плеснуть, но тут лампа лопнула и такой огонь полыхнул, что у него волосы затрещали. И по стенам огонь винтом пошел, занавески вспыхнули. Жарко стало нестерпимо.

Федюшка проснулся, схватил подушку, сошмыгнул на пол — и на улицу. А там рев поднял. Генка кинулся собирать половики, чтоб ими огонь накрыть. Но тут и четверть с керосином лопнула, брызги попали на Генку. Он тоже вспыхнул, но сразу кинулся в куть и мокрой тряпкой сбил с себя огонь.

В избе уже стало так жарко и дымно, что и дышать нельзя. Враз два окна лопнули, пламя вырвалось в огород. Лешка увидел, закричал. Тут только Генка сообразил, что и ему пора сматываться. Выскочил на улицу, кашель душит — дыму нахлебался. И волосы с бровями опалил.

Столпились маленькие Осокины на крыльце, а в дверь яркий свет полыхает, и вечер еще темней кажется. Все еще не верится им, что беда приключилась. Так хорошо было сегодня, и вдруг...

Генка с Лешкой велели Федюшке бежать к тетке Саше, а сами кинулись в избу — сундук вытаскивать. Потянули его за скобу, но он тяжелый, железом кованный и уже дымится. И подушки на кровати дымятся, и тулуп на стенке, и отцовское пальто на меху. Все это враз бы выкинуть, да жжет — спасу нет!

Им бы караул кричать, так еще не догадались и все сами хотели как-нибудь справиться. Сундук все же дотянули до порога, где не так жгло.

Время было страдное, мало кто из деревенских ночевал дома. Первым прибежал дядя Семен. Он как пригнал коров да поужинал, так сидел под окном у себя в горнице. А горница окнами на избу Осокиных глядела. Вот и увидел, как огонь полыхнул.

Дядя Семен сразу прогнал Генку с Лешкой, а сам кинулся в огонь. Сундук выволок в сени — и снова в избу. Из двери полетели дымящиеся подушки и всякая одежка. Генка с Лешкой хватали все это и выбрасывали на улицу. Дядя Семен закричал на них, велел уходить, потому что у отца где-то порох хранится и вот-вот рвануть может. Но они не уходили и помогали дяде Семену.

Керосин уже весь выгорел, и теперь просто дерево горело — стол, табуретки, подоконники, рамы, стены. С потолка и стен сыпалась обмазка, что-то лопалось и трещало.

Дядя Семен нащупал кадочку с водой и давай плескать из ковша и на себя и на стены. Даже из квашни все выплеснул и квас из четверти.

Тут еще кое-кто прибежал — по деревне уже шум неся. И цепочка с ведрами потянулась от протоки под яром до самой избы. Дядя Семен перехватывал ведра и плескал, плескал во все углы, а больше всего в куть — на шкаф, где отцовские боеприпасы хранились. И все спрашивал, много ли там пороху, а может, не там он стоит? Но Генка-то с Лешкой знали, где порох. Там он, там. Две банки. Одна полная, другая только начата.

И опять молодец дядя Семен. Тихий, незаметный, пожилой да еще больной, а сейчас, как вьюн, вертелся. Залил один угол и второй стал заливать. Порох так и не взорвался, слава богу. А то бы разнесло избу.

Генка с Лешкой, конечно, ошалели малость. Что ж теперь будет, что будет?.. Отец, наверно, заперет. Может, сбежать куда-нибудь, пока не поздно? Может, спрятаться, пока все уляжется? На заимку бы рвануть, к дедушке с бабушкой. Да ночь ведь, темень... Это уж не простое баловство — избу чуть не спалили и все добро обгорело. Но реви не реви — делу не поможешь.

Пожар залили. Черная, угарная ночь стояла над Стародубкой, из черной избы в окна и двери валил густой белый пар, будто баню протопили. Воду от старицы еще продолжали носить, и дядя Семен, забегаая в избу, лил еще и еще, хотя нигде уж даже не шипело.

А в небе, как ни в чем не бывало, играли тихие зарницы. Примолкшие было пташки в согре опять принялись за свою вечернюю песню. Где-то за Илицей мятко и не спеша стучали тележные колеса и слышалась негромкая песня запоздалого путника. Как все это не вязалось с только что случившимся! Такая беда, а кругом, оказывается, по-прежнему идет жизнь. Вот оно как. Вроде бы весь мир должен сочувствовать ребятам Осокиным, а тут птахи свистят, зарнички играют, за горой молотяга гудит.

Но вот послышался стук копыт по пыльной дороге. Кто-то очень спешил. Потом копыта загрохотали по мосту и опять по дороге. Наконец совсем рядом из темноты вырос темный конь, и темный всадник с ходу скатился наземь.

— Где они тут?

Отец! У Генки сжалось сердце. Ну, теперь будет... Господи! Если ты в самом деле есть, защити и помилуй. Ведь не нарочно же Генка избу поджег! Но и тут Генка старался не плакать, потому что принародно реветь совсем унижительно. Он только всхлипывал, а Лешка молча сопел, опустив голову.

— Вон они, Иван, — сказал кто-то, беря их за плечи.

— А Федюшка где?

— У тетки Сашки...

— Ну, не ревите, не ревите, — совсем по-доброму сказал отец и даже пальцем не тронул. Погладил по головам и велел: — Идите и вы к тетке Саше. Ты уж, Семен, приюти пока что.

— Да какой разговор, Иван!

— Спасибо тебе, сосед. — И отец низко поклонился Семену.

— Да что ты, Иван. Дело соседское. Залили, слава богу...

Все стали потихоньку расходиться, а отец вынул из кармана трубку, — кажется, первый раз в жизни не торчала она у него в зубах, закурил и еще раз велел Генке с Лешкой:

— Ну, идите, идите.

— Мы маму дождемся.

— Ну ладно. Сейчас она прибежит. Да вот ее голос-то.

Из-под яра выбежала Катерина. Дышала она тяжело, да еще рыдала.

— Господи! За что ты нас наказал?!

— Не реви, мать. Давай думать, как дальше-то быть. Садись. Посиди немного, помолчи.

Генка с Лешкой в подол ей головами ткнулись и тут уж от души реванули. Мать присела и стала вглядываться в них.

— Ой, да хоть вы-то живые, слава богу! Не обгорели? Не ушиблись?

— Не-е. Нисколько даже...

На животе у Генки небольшой волдырь, да разве ж это в счет? Пустяки.

— Федюшка первый выбежал...

— Ох-ох-ох!..

Взрослые пошли в избу, зачиркали спичками, и осветились голые, черные, потрескавшиеся стены и потолок. Мать снова в слезы ударилась, но быстро смолкла.

— Не обвалился бы потолок-то...

— Да вроде не шибко прогорел. Ну пошли, пошли отсюда. Утро мудренее вечера.

Ночевали Катерина с ребятами у дяди Семена, постелившись на полу. Кое-что все же не успело сгореть да еще тетка Саша дала тулуп и потник. А отец провел ночь в своей избе, освещая ее фонарем дяди Семена. Иногда возвращался и спрашивал:

— Ну, как они тут?

— Трясутся, — вздыхала Катерина. — Наверно, перепугались. Да боятся, поди, что лупить будешь.

— Битьем теперь не поможешь... Да и случай не тот...

Генка-то не спал, все слышал. Вот это правильно. Лишь бы не передумал отец. Генка знал, что он никогда не оставляет большие провинности без наказания. А больше этой, которую он сотворил, и не бывает. Но ведь не нарочно же...

Отец не тронул никого, даже не упрекнул за пожар. Через неделю Осокины опять в своей избе жили. Обгоревшие стены оскоблили, обтесали топором да скобелкой, обмазали глиной с конским пометом. Полы и потолок не очень пострадали, так что и менять ничего не пришлось.

Отцу, чтоб дело поправить, дали отпуск, а потом и на охоту отпустили.



После пожара жизнь у ребят Осокиных вроде бы даже лучше пошла. Все были к ним такие внимательные, что даже неудобно, будто они слабые или хворые какие. Конечно, и они теперь не своевольничали. Особенно Генка — вину свою сильно чувствовал. А мать, что раньше бывало не часто, теперь сама нет-нет да и пошлет их поиграть, побегать.

Она опять прибаливает и на работу не ходит. По дому сама управляет. И живот у нее растет, наверно, еще кого-то родит.

А еще отец накупил им всяких книжек с картинками и по букварю.

Расстелят они на полу потник, разложат книжки, рассматривают и расспрашивают про все. Матери даже надоедает отвечать, да и сама не все знает, так они сообща и без нее догадываются. Уже многие буквы знают. Иной раз даже Федюшка отгадывает, а Лешка и подавно. Опять же Лешка не отстает от Генки.

Как-то читали они, читали буквы, которые под картинкой написаны, и вдруг поняли, какое тут слово написано. «Ши-

кы-о-лы-а... Ши-кы-о-лы-а...» А быстро прочитали — и получилось «Школа».

Лешка первый догадался, да как закричит:

— Школа! Мам, мам, школа! Мам, правда же!..

Мать посмотрела.

— Ой, и правда-то! Сами прочитали? Какие ж вы у меня хорошие!

Тетка Саша как раз была у Осокиных, тоже удивилась:

— Смотри-ко ты! Башковитенькие они у тебя, Катька! А я-то по первости думала — чудные какие-то.

С этого дня они все новые и новые слова прочитывали. И не только мать, но и отец был доволен. Слушает, как они читают, курит и ухмыляется. А потом стал задания давать:

— А ну-ко, прочитайте вот это слово. А потом вот это...

Бывало, задаст, чтоб к вечеру разобрали, а они за час справятся.

И вот как-то вечером толковали, толковали отец с матерью и порешили, что в школу пойдут сразу и Генка, и Лешка. А чего Лешке целый год терять, если он соображает не хуже Генки? И правильно. Вдвоем-то и за себя постоять легче. Сперва они попробуют ходить в школу пешком, а если будет трудно, им в Калташе квартиру найдут. Неделю там жить будут, а на выходной возвращаться домой. Это ведь недалеко, всего четыре версты.

Тем временем пришли первые заморозки. Иней по утрам, хоть языком лижи. Чернь притихла, приуныла. Березняк и осинник с каждым днем все больше лысеют. Гуси тянутся караванами к югу и машут прощально. А деревенские гуси соберутся в большие стаи — и прямо с яра с шумом и гогогом летят на остров, где по утрам на тиховодье все дольше держатся узорчатые забереги. В огородах все уже убрано, только еще капуста белеется. А в лесу — благодать несказанная. Поникла трава, поредела листва, и теперь дальше все видно и лучше слышно. Все желтое да бурое, только пихты еще сильнее зеленеют.

В один из таких погожих дней Генка с Лешкой пошли наконец в школу. Приоделись, приобулись, сумки — на плечи и вышли за мост. Пошли по дороге, потом по лугу, по отаве. Отец и мать стояли на крыльце, глядели им вслед.

Вот и пошли младшие Осокины в школу. А это уже серьезно. Не то что «Квикви-Вакви».